

Письма к Милене. Франц Кафка

Датировка писем принадлежит Юргену Борну и Михаэлю Мюллеру (т.к. почти все написаны в 1920, а с июля – из Праги – это указано один раз).

Меран-Унтермайс, пансион «Оттобург», апрель 1920

Дорогая госпожа Милена,

только что прекратился дождь, ливший почти двое суток днем и ночью; может быть, это и ненадолго, но все же такое событие надо отпраздновать – вот я и пишу Вам. Впрочем, дождь я перенес легко, это оттого, что вокруг меня чужбина, она, правда, невелика, но сердцу от нее отрадно. Вы ведь тоже, если я верно почувствовал (недолгое единственное полунемое свидание явно невозможно исчерпать в памяти), рады были венской чужбине; потом-то, возможно, обстоятельства все омрачили, но Вы тоже радуетесь чужбине как таковой? (Впрочем, это, наверное, дурной знак, и лучше бы ей не радоваться.)

Я живу здесь вполне сносно, более тщательного попечения бременное тело едва ли бы и выдержало, балкон моей комнаты утопает в зелени, обвит, захлестнут цветущими кустами (странная тут растительность – в такую-то погоду, при которой в Праге уже и лужи замерзли бы, перед моим балконом медленно раскрываются чашечки цветов), и при этом он весь открыт солнцу (или, что вернее, нависшему облачному небу, вот уже почти неделю). Ящерицы и птицы, несурзные знакомцы, навещают меня; о, я бы так хотел подарить Вам Меран. Вы недавно написали, что «задыхаетесь», образ тут вполне соответствует смыслу, а эти края, может быть, хоть немного все облегчили бы.

Меран-Унтермайс, пансион «Оттобург», апрель

Дорогая госпожа Милена,

я послал Вам несколько строчек из Праги, а потом из Мерана. Ответа не последовало. Впрочем, строчки мои, конечно же, не нуждались в сколько-нибудь спешном ответе, и если Ваше молчание есть всего лишь признак относительного благополучия, каковое, мы знаем, часто выражается в нерасположенности к писанию писем, то я вполне доволен. Но ведь возможно также – и потому я пишу снова, – что в тех строчках своих я Вас чем-то обидел (какая у меня тогда против воли грубая рука, коли это так) или, что было бы много хуже, та минутная передышка, о которой Вы писали, вновь миновала и для Вас вновь наступили тяжелые дни. Относительно первого предположения мне нечего сказать, настолько чуждо мне подобное намерение, а все остальное несколько ближе; относительно же второго не решаюсь гадать, – да и как я могу гадать? – хочу только спросить: отчего бы Вам не уехать хоть ненадолго из Вены? Вы же не бесприютны, как иные. Может быть, прогулка в Богемию придала бы Вам сил? А если по каким-либо причинам, мне неизвестным, Вы не хотите в Богемию, то куда-нибудь еще – может быть, неплохо даже и в Меран? Вы бывали в Меране?

Итак, я ожидаю одного из двух. Либо дальнейшего молчания, это означает: «Не беспокойтесь, у меня все в порядке»; либо же хоть нескольких строк.

Сердечно Ваш, Кафка

Я вдруг понял, что, собственно говоря, не могу вспомнить в каких-либо подробностях Вашего лица. Вижу только, как Вы тогда проходили между столиками в кафе, направляясь к выходу, Вашу фигуру, Ваше платье – это все еще вижу.

Дорогая госпожа Милена,

среди венского уныния Вы трудитесь над переводом. Для меня это и трогательно, и стыдно. Вы, наверное, успели уже получить письмо от Вольфа,^[1] по крайней мере он уже некоторое время назад писал мне о таком письме. Новеллы «Убийца», объявленной, как говорят, в каком-то каталоге, я не писал, это недоразумение; но коль скоро она якобы лучшая, возможно, так оно и есть.

Судя по вашему последнему и предпоследнему письмам, тревоги и заботы, кажется, целиком и полностью Вас оставили, и я очень Вам этого желаю – и Вам, и Вашему мужу. Мне вспоминается воскресный вечер несколько лет назад, я брел по набережной Франценскэ, цепляясь за стены домов, и столкнулся с Вашим мужем, он шел мне навстречу и выглядел не многим лучше, чем я, – два больших специалиста по головным болям, впрочем, каждый совершенно в своем роде. Не помню уже, то ли мы продолжили путь вместе, то ли так и разминулись, да, пожалуй, разница не столь уж и велика. Но все это миновало и должно остаться в глубинах минувшего. Хорошо ли у Вас дома?

С сердечным приветом,

Ваш Кафка

С сердечным приветом,

Ваш Ф.Кафка

Меран, апрель

Стало быть, легкие. Целый день я ворочал эту мысль в голове и так и этак, ни о чем другом думать не мог. Не то чтобы болезнь особенно меня пугала; наверное (я на это надеюсь, и Ваши намеки это, кажется, подтверждают), она коснулась Вас лишь мягко, но даже и серьезное заболевание легких (более или менее поврежденные легкие сейчас у половины Западной Европы), знакомое мне самому вот уже три года, принесло мне больше блага, чем зла. Года три назад это началось у меня посреди ночи – пошла горлом кровь. Я встал с

постели (и это вместо того, чтобы оставаться лежать, как я узнал позже из предписаний), случившееся меня взбудоражило, как все новое, но, конечно, немного и перепугало; я подошел к окну, высунулся наружу, потом прошел к умывальнику, походил по комнате, сел на кровать – кровь не переставала. Но при этом я вовсе не был несчастен – ибо через некоторое время я почему-то ясно вдруг осознал, что после трех, да нет, четырех лет бессонницы я впервые – если, конечно, перестанет идти кровь – смогу заснуть. Вскоре все прекратилось (и с тех пор не возвращалось), так что остаток ночи я спал спокойно. Правда, утром пришла горничная (я снимал тогда квартиру в Пале Шёнборн), добрая, чуть ли не самоотверженная, но в высшей степени деловая девушка, и, увидев кровь, сказала: «Pane doktore, s Vami to dlouho nepotrvá».[2] Но я чувствовал себя лучше обычного, пошел на работу и лишь после обеда отправился к врачу. Продолжение этой истории тут уже неинтересно. Что я хотел сказать: меня напугала не Ваша болезнь (тем более что я, без конца перебивая сам себя и перебирая свои воспоминания, распознаю за всей Вашей хрупкостью почти по-крестьянски бодрую, крепкую натуру и прихожу к выводу: нет, Вы не больны, это лишь предостережение, а не заболевание легких), – так вот, не это меня напугало, а мысль о том, что должно было предшествовать такому срыву. Тут я для начала исключаю остальное, о чем Вы пишете: ни гроша в кармане, только чай да яблоки, ежедневно с двух до восьми, – это все вещи, которых я не понимаю, и они явно нуждаются в устных разъяснениях. От этого я, стало быть, сейчас отвлекаюсь (но только в письме – ибо забыть такое невозможно) и думаю лишь об объяснении, которое я тогда выстроил для заболевания в моем случае и которое ко многим случаям подходит. Мой мозг тогда просто не мог больше переносить возложенные на него заботы и мучения. Он сказал: «Я сдаюсь; а если кому-то все-таки важно по возможности сохранить целое, пусть облегчит мне ношу, и тогда мы еще какое-то время продержимся». Тут-то и подали голос легкие – им, видно, нечего было терять. Эти переговоры между мозгом и легкими – без моего ведома – были, наверно, ужасны.

И что же Вы теперь намереваетесь делать? Насколько я понимаю, немножко оберегать Вас – это сущий пустяк, это ничего не стоит. А то, что Вас надо немножко оберегать, должно быть видно всякому, кто Вас любит, тут все остальные соображения должны умолкнуть. Стало быть, избавление найдено? Я ведь уже сказал – нет, не буду шутить, у меня вовсе не весело на душе и не будет весело, пока Вы не напишете мне, удалось ли Вам наладить новый и более здоровый образ жизни. Почему Вы не уедете на некоторое время из Вены – об этом я уже не спрашиваю после Вашего последнего письма, я все понял, но ведь и поблизости от Вены есть чудесные места, где бы Вас могли окружить заботой. Я не пишу сегодня ни о чем другом, ничего более важного у меня нет за душой. Все остальное – на завтра, в том числе и благодарность за журнал.[3] я был растроган и устыжен, опечален и обрадован. Нет, еще только об одном сегодня: если Вы пожертвуете хоть минутой Вашего сна ради перевода, это будет все равно что навек проклясть меня. Ибо когда однажды дело дойдет до суда, не понадобится никакого особого следствия, будет просто установлено: он лишил ее сна. Тем самым я буду осужден – и по праву. Стало быть, я борюсь и за себя, когда прошу Вас больше этого не делать.

Ваш Франц К.

Меран, конец апреля

Дорогая госпожа Милена,

сегодня я хочу писать о другом, но – не пишется. Не то чтобы я все принимал уж слишком всерьез; будь это так, я писал бы по-другому, но ведь должна же где-то стоять для Вас качалка в саду, в полузатененном уголке, и чашек десять молока под рукой, чтоб сразу дотянуться. Пускай это даже будет в Вене, ну и что, тем более летом, только б не голодать и не тревожиться. Неужели нет никого, кто бы в этом помог? А что говорит врач?

Когда я вынул журнал из большого конверта, я был почти разочарован. Я хотел услышать что-нибудь о Вас, а не этот уж слишком знакомый голос из старой могилы. Зачем он встрял между нами? А потом я понял, что он же нас и свел. Но, между прочим, для меня непостижимо, как Вы решились взять на себя этот тяжкий труд, и я глубоко тронут тем, с какой верностью Вы его исполнили, словечко за словечком; что такая верность и та великолепная естественная уверенность, с какой Вы ее сохраняете, возможны в чешском языке, я и не предполагал. Неужели немецкий и чешский так близки? Но как бы то ни было, сам рассказ, говоря по чести, отменно плох; мне было бы легче легкого, дорогая госпожа Милена, доказать Вам это строка за строкой, и разве что мое отвращение пересилило бы необходимость доказательства. То, что рассказ Вам понравился, естественно, придает ему ценность, но и немного омрачает для меня картину мира. Довольно об этом. «Сельского врача» Вы получите от Вольфа,[4] я ему написал.

Разумеется, я понимаю по-чешски. Мне уже не раз хотелось спросить Вас, почему Вы не напишете мне как-нибудь по-чешски. Это вовсе не оттого, что Вы не владеете немецким языком. Вы, как правило, владеете им изумительно, а если где-то вдруг обнаружится, что Вы им не владеете, он добровольно склоняется перед Вами, и тогда это особенно прекрасно; вот немец этого от своего языка никак не ожидает, так лично он не отваживается писать. Но я бы хотел почитать Вас по-чешски, это ведь Ваш язык, ведь только там, в нем вся Милена (перевод это подтверждает), а здесь разве что Милена венская или собирающаяся в Вену. Итак, по-чешски, пожалуйста. И пришлите свои фельетоны, о которых Вы пишете.[5] Пускай они «ничтожны», что за беда. Вы же пробрались сквозь мою ничтожную повестушку – куда? Не знаю. Но вдруг и я смогу, а уж если не смогу, что ж – так и останусь пребывать в наилучшем предубеждении из всех возможных.

Вы спрашиваете о моей помолвке. Я был помолвлен дважды (если угодно, даже трижды – потому что дважды с одной и той же девушкой); итак, трижды я был в каких-нибудь нескольких днях от брака.[6] Первая история целиком позади (там уже новое супружество и, как я слышал, появился малыш), вторая еще жива, но без всяких видов на брак, то есть, собственно, уже и не жива – либо, точнее говоря, живет теперь самостоятельной жизнью за счет людей. Вообще я в этом случае – да и в иных тоже – пришел к выводу, что мужчины, возможно, больше страдают или, если взглянуть на дело иначе, обнаруживают меньшую сопротивляемость, а вот женщины всегда страдают безвинно, и это не потому, что они тут «бессильны что-либо поделать», а в самом изначальном, прямом смысле, хотя он, наверно, в конечном счете оказывается все тем же «бессилием». Впрочем, что толку ломать над этим голову? Ты будто силишься разбить один-единственный котел в аду; во-первых, это не удастся, а во-вторых, если и удастся, ты сам хоть и сгоришь в хлынувшей из него огненной лаве, но ад все равно останется во всем своем великолепии. Надо действовать иначе.

Но сначала, во всяком случае, надо улечься в саду и постараться извлечь из болезни, особенно если это не взаправдашняя болезнь, всю сладость, какая только возможна. А в ней много сладости.

Ваш Франц К.

Меран, апрель – май

Дорогая госпожа Милена,

скажу сразу – а то Вы, чего доброго, против моей воли вычитаете это из моего письма: вот уже примерно две недели меня все сильнее донимает бессонница, вообще-то я не делаю из этого трагедии, такие периоды приходят и уходят, и для них всегда есть даже больше причин, чем нужно (это смешно, но, по Бедкеру, одна из них – меранский воздух), – хоть эти причины иной раз почти и не видны; как бы то ни было, от всего этого делаешься тупым, как чурбан, и беспокойным, как лесной зверь.

Но хоть одна радость у меня есть. Вы спали спокойно – пусть и «странным образом», пускай еще вчера Вы были «вне себя», – но спали спокойно. Если ночью, стало быть, сон будет бежать от меня, я теперь знаю его дорогу – и не возропщу. Да и глупо было бы роптать: ведь из всех существ сон – самое невинное, а человек, не знающий сна, – самое виновное.

И вот этого человека, лишенного сна, Вы благодарите в своем последнем письме. Если бы кто-то со стороны прочел его, он бы, наверное, подумал: «Что за человек! Похоже, он сумел сдвинуть горы». А между тем человек ничего не сделал, пальцем не пошевелинул (разве что пером), питается молоком и чем бог пошлет (не всегда – хоть и часто – имея под рукой «чай да яблоки»), а в остальном представляет вещам идти своим ходом и горам оставаться на своих местах. Вы знаете историю первого успеха Достоевского? Эта история многое в себя вобрала, и я привожу ее лишь удобства ради, из-за прославленного имени, потому что любая история, случившаяся по соседству, а то и еще ближе, имела бы тот же смысл. Кстати, я уже и помню-то ее лишь приблизительно – тем более имена. Достоевский писал в это время свой первый роман «Бедные люди», а жил вместе со своим другом, литератором Григорьевым.[7] Тот хоть и видел в течение многих месяцев груды исписанных листов на столе, но манускрипт получил в руки, лишь когда роман был готов. Он его прочел, пришел в восторг и, ни слова не сказав Достоевскому, отнес его знаменитому тогда критику Некрасову. В три часа ночи к Достоевскому звонят в дверь. Врываются Григорьев с Некрасовым, бросаются к Д. с объятьями и поцелуями, Некрасов, прежде его не знавший, называет его надеждой России, они беседуют час, два, главным образом о романе, и расстаются лишь под утро. Достоевский, назвавший потом эту ночь счастливейшей в своей жизни, подходит к окну, смотрит им вслед, не может прийти в себя и раздражается слезами. Охватившее его чувство – он сам его потом описал, не помню где, – было примерно таково: «Что за великолепные люди! Как добры, как благородны! И как низок я сам. Если б они могли заглянуть ко мне в душу... А ведь скажи я им – не поверят». То, что Достоевский потом еще и решил им во всем следовать, – это уже арабеска, это последнее слово, которое оставляет за собой непобедимая юность, к рассказанной истории это уже не имеет отношения, она, стало быть, закончилась. Понимаете ли Вы, дорогая госпожа Милена, тайный смысл этой истории, непроницаемый для рассудка? По-моему, он вот в чем: Григорьев и Некрасов, если говорить вообще, были, конечно же, не благороднее Достоевского, но Вы отрешитесь сейчас от общего взгляда (Достоевскому он ведь тоже не нужен был в ту ночь, да и что толку от него в каждом единичном случае?), Вы слушайте только Достоевского, и Вы проникнетесь тогда убеждением, что Гр. и Н. в самом деле были великолепны, а Д. грязен, бесконечно низок, что он, конечно же, никогда даже и отдаленно не достигнет этих высот и уж тем более речи быть не может о том, чтобы отплатить Гр. и Н. за их неслыханное, незаслуженное благодеяние. Я буквально вижу их из окна – как они удаляются и тем самым подтверждают свою недостижимость. К сожалению, истинный смысл этой истории размывается великим именем Достоевского. Куда меня завела моя бессонница? Во всяком случае, я и там остаюсь лишь с самыми добрыми побуждениями и пожеланиями.

Ваш Франц К.

Дорогая госпожа Милена,

всего несколько слов, завтра наверняка напишу Вам снова; сегодня же я пишу только ради себя, только затем, чтобы хоть что-то сделать для себя, только чтобы немного отодвинуть впечатление от Вашего письма, иначе оно будет преследовать меня день и ночь. Вы очень странная, госпожа Милена, живете там, в Вене, страдаете и притом еще находите время удивляться, что другим, мне например, живется не очень хорошо и что какую-то ночь я сплю хуже, чем предшествующую. У трех здешних моих приятельниц (трех сестричек, старшей пять лет) подход не в пример разумнее, при всяком удобном и неудобном случае, у реки ли, нет ли, они норовили спихнуть меня в воду, и вовсе не потому, что я плохо с ними обошелся, отнюдь. Когда взрослые грозят детям такими вещами, то это, разумеется, шутка и любовь и означает приблизительно вот что: скажем-ка развлеченья ради что-нибудь ну совершенно, совершенно невозможное. Но дети все воспринимают всерьез, и невозможное для них не существует, десять неудачных попыток спихнуть тебя в воду не убедят их, что и одиннадцатая закончится неудачей, они даже не помнят, что прежде десять раз вышла осечка. Если наполнить детские слова и намерения знанием взрослых, становится жутковато. Когда такая четырехлетняя малышка, которая словно бы и создана лишь затем, чтобы ее целовали и тискали, а вдобавок сильная, как медвежонок, и еще по-младенчески пузатенькая, идет на тебя в атаку, а две сестренки помогают ей слева и справа, и за спиной у тебя уже перила, а добродушный папаша этой троицы и мягкая красивая толстуха мать (в колясочке у нее четвертый) с улыбкой издали наблюдают за происходящим и вовсе не спешат тебе на выручку, – ты почти на краю гибели, и толком невозможно описать, каким образом все же удается спастись. Разумные или прозорливые дети норовили сбросить меня в воду без особой причины, может быть, оттого, что считали меня лишним, бесполезным, а ведь они не знали ни Ваших писем, ни моих ответов.

Пусть Вас не пугают «добрые побуждения и пожелания» последнего письма. У меня был – нередкий здесь – период полнейшей бессонницы, я записал эту историю, о которой частенько размышлял в связи с Вами, но, когда закончил, виски и справа и слева так сдавило, что я уже толком не понимал, зачем ее рассказывал, вдобавок мешала и бесформенная глыба всего того, что я хотел сказать Вам на балконе, в качалке, поэтому мне ничего и не оставалось, кроме как сослаться на основополагающее ощущение, да я и теперь еще не могу иначе.

У Вас есть все, что я опубликовал, кроме последней книжки «Сельский врач», сборника небольших рассказов, который Вам пришлет Вольф, во всяком случае неделю назад я в письме просил его об этом. В печати нет ничего, и я не припомню, чтобы что-то могло выйти. Как бы Вы ни поступили с этими книгами и переводами, все будет правильно, жаль, что они не настолько мне дороги, чтобы передача их в Ваши руки по-настоящему выразила то доверие, какое я к Вам питаю. Зато я очень рад, что посредством нескольких замечаний по

предвещает той адской кары, которая заключается в том, что необходимо еще раз проверить свою жизнь взором познания, причем самое худшее здесь не просмотр явных проступков, а именно тех, какие некогда считал благими.

Несмотря ни на что, писать все-таки хорошо и полезно, мне теперь спокойнее, чем было два часа назад с Вашим письмом на балконе, в качалке. Я лежал там, а в шаге от меня какой-то жук упал на спину, он отчаянно силился встать и не мог, я бы охотно пособил ему, ведь это было легче легкого: сделать шаг и чуток его подтолкнуть – вот тебе и действенная помощь, но я забыл о нем, читая Ваше письмо, я не мог встать, лишь какая-то ящерка вновь привлекла мое внимание к жизни вокруг, путь ящерики лежал как раз через жука, который уже совсем затих, – значит, сказал я себе, это была не мелкая незадача, а схватка со смертью, редкое зрелище естественной смерти живой твари; но, когда ящерица шмыгнула через жука, она ненароком поставила его ноги, он, правда, еще минуту-другую не шевелился, но потом как ни в чем не бывало побежал вверх по стене. Каким-то образом это, пожалуй, слегка приободрило меня, я встал, выпил молока и написал Вам.

Ваш Франц К.

Завтра pošлю Вам свои замечания, кстати, их очень немного, на большинстве страниц их вообще нет, как бы сама собою разумеющаяся правдивость перевода вновь и вновь – когда я спохватываюсь, что это вовсе не само собой разумеется, – удивляет меня, почти ни единой погрешности, да и то по пустякам, всегда крепкое и решительное понимание. Я вот только не знаю, не поставят ли Вам чехи в упрек эту верность, которая мне в переводе особенно мила (вовсе не ради рассказа, но ради меня самого); мое чешское чувство языка, а оно у меня тоже есть, полностью удовлетворено, но чрезвычайно предвзято. По крайней мере, если кто-то Вас в этом упрекнет, постарайтесь уравновесить обиду моей благодарностью.

Меран, май

Дорогая госпожа Милена,

(да, обращение это уже надоело, но в нашем ненадежном мире оно один из тех поручней, за которые могут ухватиться больные, и если хвататься за поручень надоело, это все равно еще не признак выздоровления) я никогда не жил среди немецкого народа, немецкий язык мне родной по матери[8] и потому для меня естествен, но чешский мне много милее, потому-то Ваше письмо будто разрывает туманные завесы, я вижу Вас яснее, движения стана, рук, такие быстрые, такие решительные, это почти встреча, – правда, когда я потом хочу поднять глаза, чтобы увидеть Ваше лицо, то письмо мое – что за притча! – вспыхивает пламенем, и я ничего не вижу, только пламя.

Этак можно поддаться соблазну и поверить в выведенный Вами закон Вашего существования. То, что Вы не хотите, чтобы Вас жалели из-за этого якобы тяготящего над Вами закона, вполне понятно, ибо неведение закона есть не что иное, как дерзновение и гордыня (ja jsem ten, ktery plati);[9] правда, примеры проявления этого закона, Вами приводимые, обсуждению не подлежат, тут остается только молча поцеловать Вам руку. Что до меня, я, конечно, верю в этот Ваш закон, я не верю только, что он так уж обнаженно жестоко и навек осенил Вашу жизнь; хоть он и откровение, но откровение в пути, а путь бесконечен.

Однако независимо от этого для человеческого земного ограниченного ума ужасно представлять Вас в той раскаленной печи, в какой Вы живете. Я попробую говорить только о себе. Если рассматривать все как некое подобие школьной задачи, то у Вас по отношению ко мне были три возможности. Вы могли бы, например, ничего не рассказывать мне о себе, но тогда Вы лишили бы меня счастья знать Вас и – что еще важнее счастья – проверять на всем этом себя самого. Стало быть, Вам нельзя было замыкаться передо мной. Вы могли бы, далее, о многом умолчать, многое приукрасить – и сейчас еще можете, – но я бы при нынешнем положении дел это почувствовал, хоть и ничего не сказал бы, и мне было бы лишь вдвойне больно. Значит, и этого Вам нельзя делать. Остается только третья возможность: стараться по возможности спасти самое себя. И робкая надежда на такую возможность проскальзывает все-таки в Ваших письмах. Я нередко теперь читаю в них о спокойствии и твердости, нередко, правда, приходится все еще читать и о другом – а то даже и о «realní hrůza».[10]

Того, что Вы сообщаете о своем здоровье (у меня оно хорошее, только сплю я в этом горном воздухе плохо), мне недостаточно. Диагноз врача я не нахожу очень уж благоприятным – точнее говоря, он ни то ни се, и лишь от Вашего поведения зависит, как его истолковать. Конечно, все врачи болваны; впрочем, они, наверное, и не глупее других людей, но их амбиции смешны; как бы то ни было, надо принимать в расчет, что стоит нам только с ними связаться, как они становятся все глупее; но то, что врач от Вас пока требует, не назовешь ни очень глупым, ни невозможным. Невозможно лишь, чтобы Вы всерьез заболели, и так оно и должно остаться невозможным. В чем изменилась Ваша жизнь после разговора с врачом – вот самый главный вопрос.

А теперь несколько второстепенных вопросов – Вы позволите? Почему и с каких пор Вы сидите без денег? Почему Вы раньше, как Вы пишете, общались в Вене со многими людьми, а теперь ни с кем?

Своих фельетонов Вы не хотите мне прислать; стало быть, не верите, что я смогу правильно и уместно вписать эти фельетоны в тот образ, который я себе о Вас составил. Хорошо, тогда я буду в этом отношении на Вас сердит, что, впрочем, не беда, ведь для сохранения равновесия даже лучше, если в одном уголке моего сердца для Вас будет уготовано немного сердитости.

Ваш Франц К.

Пятница

Прежде всего, Милена: что это за квартира, где Вы писали в воскресенье? Просторная и пустая? Вы одна? День и ночь?

Наверное, все-таки грустно прекрасным воскресным днем сидеть там в одиночестве против «чужого человека», чье лицо всего лишь «исписанный лист бумаги». Насколько же лучше обстоит со мной! Комната у меня, правда, маленькая, но зато здесь настоящая Милена, которая определенно сбежала от Вас на воскресенье, и поверьте, быть подле нее чудесно.

Вы сетуете на никчемность. В другие дни было и будет по-другому. Одна фраза (по какому поводу она была сказана?) ужасает Вас, но ведь она так ясна и в этом смысле произносилась – вслух или про себя – уже несчетно раз. Человек, терзаемый своими демонами, совершенно бессознательно мстит ближнему. В такие минуты Вам бы хотелось дать ему полное избавление, но это не удается, и тогда Вы называете себя никчемной. Кому дозволено желать такого кощунства? Ведь это еще никому не удавалось, в том числе, к примеру, даже Иисусу. Он мог только сказать: «Следуй за мною», а потом это великое (цитируемое мною, увы, совершенно неправильно): поступи по слову Моему, и увидишь, что это не слово человека, но слово Бога. И демонов он изгонял только из тех людей, что следовали за ним. Да и то не всегда, потому что, если они отпадали от него, он тоже утрачивал влияние и «благопольность». Между прочим – это единственное, в чем я с Вами согласен, – он тоже уступал соблазну.

Пятница

Сегодня под вечер я, собственно говоря, впервые в одиночку совершил довольно длительную прогулку, обычно я ходил с другими людьми или, большей частью, лежал дома. Что это за края! Силы небесные и бедный, неспособный мыслить рассудок, Милена, если б Вы были здесь! Притом ведь я бы солгал, если бы сказал, что мне Вас недостает; это совершеннейшее, мучительнейшее волшебство – Вы здесь, точно так же, как я, и даже сильнее; где я, там и Вы, и даже сильнее. Это не шутка, иногда я воображаю себе, что Вам – той, которая находится здесь, – недостает здесь меня и Вы спрашиваете: «Где же он? Разве он не писал, что находится в Меране?»

Ф.

Вы получили два моих ответных письма?

Дорогая госпожа Милена,

день так короток, проведен он с Вами и с кой-какими незначительными мелочами и уже подошел к концу. Остается разве что немного времени, чтобы написать настоящей Милене, поскольку еще более настоящая целый день пробыла здесь, в комнате, на балконе, в облаках.

Откуда идет свежесть, настроение, беспечность Вашего последнего письма? Что-то переменялось? Или я ошибаюсь и этому способствуют будничные вещи? Или Вы так хорошо владеете собой, а заодно и всем этим? В чем же тут дело?

Начинается Ваше письмо прямо как судебный документ, я всерьез так считаю. И Вы правы, упрекая: «*Ci ne tak docela pravdu*», [11] так же как Вы, в сущности, были правы насчет «*dobre mineno*». [12] Это ведь само собой разумеется. Будь я встревожен так сильно и непрерывно, как написал, я бы не выдержал в качалке и никакие препятствия не помешали бы мне уже через день явиться в Вашей комнате. Это единственная проверка на правдивость, все остальное – разговоры, в том числе и вот это. Или апелляции к основополагающему ощущению, но оно безмолвствует и сидит сложа руки.

Как же получается, что все эти смешные люди, те, кого Вы описываете (с любовью и потому чудесно), затем тот, кто задает вопросы, и многие другие Вам еще не надоели? Вы же должны вынести приговор, ведь в конце концов приговор выносит именно женщина. (Легенда о Парисе несколько напускает туману, но и Парис судит лишь о том, приговор которой из богинь самый веский.) Дело-то, в общем, не в смехотворностях, быть может, смехотворное в них сиюминутно, а ставши частью целого, они затем сделаются серьезны и хороши, – не эта ли надежда удерживает Вас подле этих людей? Кто может сказать, что ему ведомы тайные мысли судии, но мне кажется, что Вы прощаете смехотворности как таковые, понимаете их, любите и Вашей любовью облагораживаете. А между тем эти смехотворности суть не что иное, как зигзаги собачьей беготни, тогда как хозяин шагает напрямик, ну не напролом конечно, а как раз там, где проходит дорога. Однако в Вашей любви, наверное, все равно есть смысл, я в этом совершенно уверен (просто я не могу не спрашивать и не находить это странным), и, только чтобы подтвердить такую возможность, мне вспоминаются слова одного из сослуживцев. Несколько лет назад я часто плавал в лодочке-«душегубке» по Влтаве, поднимался на веслах вверх по течению, а потом, растянувшись во весь рост на дне утлого суденышка, плыл по воле волн, под мостами. Из-за моей худобы сверху, с моста, зрелище явно было очень смешное. Так вот, тот сослуживец, который однажды увидел меня с моста, так подытожил свое впечатление, прежде достаточно подчеркнув комизм ситуации: картина – как перед началом Страшного суда, когда гробы уже отверзлись, но мертвые еще не восстали.

Совершил небольшую прогулку (не ту большую, о которой упоминал и которая так и не состоялась) и почти три дня от (вовсе не неприятной) усталости почти ничего не мог делать, даже писать, только читал, письмо, статьи, [13] и не по одному разу, полагая, что такая проза существует, разумеется, не ради себя самой, а служит своеобразным дорожным указателем на пути к человеку, на пути, по которому идешь все более счастливый, пока в миг прозрения не осознаешь, что ничуть не продвигаешься вперед, просто все еще блуждаешь в собственном лабиринте, только в еще большем, нежели обычно, волнении и замешательстве. Но как бы там ни было, написано это не какой-нибудь заурядной авторшей. После этого я питаю к Вашим писаниям почти столько же доверия, как и к Вам самой. На чешском языке (при скудных моих познаниях) мне известен лишь один образец словесной музыки – музыка Божены Немцовой, [14] и вот новая музыка, но сродни той первой – решительностью, страстностью, изяществом и прежде всего прозорливостью ума. Это вызвано к жизни последними годами? Раньше Вы тоже писали? Конечно, Вы можете сказать, что я до смешного предубежден, и Вы правы, я безусловно предубежден, но лишь в силу того, что мною не просто впервые найдено в этих (кстати, неровных, местами страдающих от дурного влияния газеты) заметках, но найдено вновь. Неполноценность моего суждения Вы, однако, можете заметить сразу по тому, что я, введенный в соблазн двумя пассажирами, полагаю Вашей и изрезанную статью о модах. Я бы с большим удовольствием оставил эти вырезки у себя, чтобы по крайней мере показать их моей сестре, но, поскольку они нужны Вам незамедлительно, прилагаю их к письму, добавок на полях я вижу подсчеты. Вашего мужа я все же оценивал иначе. В кругу завсегдадаев кофейни он казался мне наиболее покладистым, восприимчивым, спокойным, едва ли не преувеличенно отечески заботливым, впрочем, и замкнутым, но не до такой степени, чтобы это упряднило перечисленные выше качества. Я всегда относился к нему с уважением, а узнать его ближе не имел ни случая, ни способности, но друзья, в особенности Макс Брод, были о нем высокого мнения, и, думая о нем, я постоянно об этом помнил. Одно время мне особенно нравилось его чудачество: в любой кофейне ему по несколько раз за вечер звонили по телефону. Похоже, кто-то, вместо того чтобы спать, сидел у аппарата, дремал, положив голову на спинку кресла, и время от времени в панике просыпался, чтобы позвонить. Мне так понятно это состояние, что, наверное, я только потому об этом и пишу.

Ваш Франц К.

Как Вы думаете? Удастся ли мне еще до воскресенья получить письмо? Возможность-то есть. Но эта страсть к письмам просто нелепа. Разве не достаточно одного письма, одной весточки? Конечно достаточно, и все же откидываешься на спинку качалки, и пьешь эти письма, и знаешь только, что так бы ипил их не переставая. Объясните это, Милена, учительница!

Четверг

Сейчас я не хочу говорить ни о чем другом, кроме как вот об этом (я и письма Ваши еще толком не прочитал, только облетел взглядом, как мошка свечу, и несколько раз опалил себе голову; кстати, как я успел установить, это два совершенно разных письма – одно, чтобы пить его и пить, другое, чтобы прийти в ужас, но последнее, видимо, написано позднее): когда встречаешь знакомого и с напряженным интересом спрашиваешь, сколько будет дважды два, то это вопрос сумасшедшего, однако в первом классе начальной школы он весьма и весьма уместен. Мой же вопрос к Вам, Милена, таков, что в нем соединяется то и другое – сумасшедший дом и начальная школа, к счастью, толика начальной школы тоже есть. Дело в том, что я всегда приходил в совершенное недоумение, если кто-нибудь ко мне привязывался, и порой разрушал иные человеческие связи (например, с Вайсом[15]) по причине логического склада ума, всегда больше верящего в заблуждение другого, нежели в чудо (касательно меня, и только).

Зачем, думал я, мутить такими вещами и без того уже мутные воды жизни. Я вижу перед собою часть возможного пути и понимаю, на каком же огромном и, наверное, непреодолимом для меня расстоянии от нынешнего моего местопребывания я стану достоин случайного взгляда (моего, что уж там говорить о других!), да/случайного взгляда (это не скромность, а гордыня, если Вы хорошенько вдумаетесь), и вот я получил – Ваши письма, Милена. Как выразить это отличие? Некто лежит в грязи и вони смертного одра – и приходит ангел смерти, благословеннейший из всех ангелов, и смотрит на него. Смеет ли этот человек вообще умирать? Он переворачивается, зарывается еще глубже в постель, умереть ему невозможно. Словом, я не верю в то, что Вы мне пишете, Милена, и нет способа все это мне доказать – ведь и Достоевскому в ту ночь никто не смог бы ничего доказать, а моя жизнь длится одну ночь, – доказать мог бы только я сам, вполне представляю себе, что был бы на это способен (как Вы однажды представили себе человека в качалке), но и себе я не поверю. Вот почему этот вопрос был смешным паллиативом – Вы, разумеется, поняли это сразу, – так учитель от усталости и тоски иной раз, слыша правильный ответ ученика, нарочно внушает себе, будто этот учебник по-настоящему понимает предмет, тогда как на самом деле тот знает ответ лишь по каким-то несущественным причинам и никоим образом не может понимать сути предмета, потому что такому пониманию его мог бы научить лишь сам учитель. Но не хныканьем, жалобами, ласками, просьбами, мечтами (у Вас есть последние пять-шесть писем? Вам бы стоило взглянуть на них, они составят полноту картины), а не чем иным, как... Оставим вопрос открытым.

Я заметил, что в своем письме Вы упомянули и о той девушке. Чтобы сразу развеять все сомнения, скажу так: если отвлекусь от минутной боли, Вы оказали этой девушке величайшее благодеяние. Я просто не могу представить себе, как бы она иначе от меня отделилась. Конечно, у нее было некое болезненное предчувствие, но она совершенно не видела, откуда, собственно говоря, местечко подле меня черпало свое (тревожное, но тревожное не для нее) тепло. Помню, мы сидели рядом на канаве в однокомнатной квартире во Вршовице (кажется, был ноябрь, а квартира эта через неделю должна была стать нашим жильем), она была счастлива, что после стольких трудов добыла по крайней мере эту квартиру, рядом с нею сидел ее будущий муж (повторяю, затея с браком принадлежала мне одному, один я настаивал на свадьбе, она лишь испуганно и нехотя подчинилась, а потом, конечно же, свылась с этой мыслью). Размышляя об этой сцене со всеми ее подробностями, более многочисленными, чем лихорадочные удары сердца, я верю, что способен понять любое человеческое ослепление (в данном случае оно месяцами владело и мною, впрочем, я был не только ослеплен, но еще и воображал, что из этого получится брак по расчету в самом лучшем смысле этого слова), да, любое ослепление, до конца, и боюсь поднести к губам стакан молока, потому что он, не по случайности, а с умыслом, вполне может разбиться у меня перед носом и вонзится осколками мне в лицо.

Вопрос: в чем заключаются упреки, которые Вам делают? Да, мне тоже случалось делать людей несчастными, но они, разумеется, не упрекают меня все время, они просто умолкают и, по-моему, даже в глубине души не корят меня. Такое у меня исключительное положение среди людей.

Но все это не важно в сравнении с мыслью, которая осенила меня нынче утром, когда я вставал с постели, и так околдовала, что я даже не заметил, как умылся и оделся, и, наверное, точно бы таким же манером и побрился, если б ранний гость не вывел меня из этого состояния.

Коротко говоря, дело вот в чем: Вы на время оставите Вашего мужа, ничего нового в этом нет, ведь однажды такое уже случилось. Причины тому: Ваша болезнь, его нервозность (Вы облегчите и его жизнь) и, наконец, венские обстоятельства. Куда Вы надумаете поехать, я не знаю, лучше всего Вам бы подошло какое-нибудь тихое место в Богемии. Притом лично мне лучше всего не вмешиваться и не появляться. Необходимые для этого деньги Вы пока возьмете у меня (об условиях возврата мы договоримся). (Назову лишь одно побочное преимущество, которое я бы от этого получил: я бы сделался самым что ни на есть прилежным конторщиком – служба у меня, кстати, смехотворная и до невозможности легкая, Вы даже представить себе не можете, я понятия не имею, за что получаю деньги.) Если на месяц иной раз и не вполне хватит, Вы наверняка легко достанете дополнительную сумму, которая явно будет невелика.

Не стану пока больше расхваливать эту идею, но Вам предоставляется okazия высказать о ней свое суждение и таким образом продемонстрировать мне, позволительно ли доверить Вашему суду об иных моих придумках (ибо ценность этой идеи мне известна).

Ваш Кафка

Не очень-то легко теперь, когда я прочитал это ужасное, но ужасное отнюдь не насквозь письмо, благодарить за радость, какую доставило мне его получение. День праздничный, обычная почта уже никак бы не пришла, да и завтра, в пятницу, вряд ли можно было рассчитывать на весточку от Вас, стало быть, настало что-то вроде глухого затишья, хотя, что касается Вас, отнюдь не печального; ведь в последнем письме Вы были очень сильная, и я смотрел на Вас так же, как смотрел бы из качалки на альпинистов, если б мог разглядеть их отсюда высоко в снегах. И вот прямо перед обедом пришло это письмо, я мог взять его с собой, вытащить из кармана,

пожить на стол, опять спрятать в карман, ну, словом, как пальцы обыкновенно играют с письмом, смотришь на них и радуешься этим детям. Своих визави, генерала и инженера (превосходные, милые люди), я порой не узнавал, слышал их еще реже, еда – сегодня я опять начал есть (вчера не ел вообще) – мне тоже не очень мешала, из арифметических упражнений, которые были устроены после обеда, короткие задачки были мне куда яснее, чем длинные решения, во время которых мне зато открывался в распахнутое окно вид на сосны, солнце, горы, деревню, а прежде всего – далеко за ними угадывалась Вена.

Впрочем, потом я внимательно прочитал письмо, то есть внимательно я прочитал воскресное письмо, чтение письма от понедельника приберегу до получения следующей весточки от Вас, там есть вещи, которые я не в силах читать со всем вниманием, видно, я еще не вполне здоров, да ведь это письмо и устарело, – по моим расчетам, в пути пять писем, по крайней мере три из них уже теперь должны быть у Вас в руках, даже если опять одно потерялось и заказные идут дольше. Теперь мне остается только просить Вас ответить сразу и опять сюда, достаточно одного слова, но оно должно быть такое, чтобы у всех упреков из письма, посланного в понедельник, обломались шипы и можно было это письмо прочитать. Кстати, это был как раз тот понедельник, когда я здесь (вовсе не безнадежным образом) крепко встряхнул свой рассудок.

А теперь другое письмо. – Но уже поздно, после нескольких неопределенных согласий я нынче твердо обещал тому инженеру зайти и посмотреть большие рисунки его детей, которые сюда не принесешь. Он разве что чуть постарше меня, баварец, фабрикант, весьма ученый, однако веселый и благоразумный, у него было пятеро детей, живы только двое (между прочим, детей у него больше не будет, из-за жены), мальчику уже 13, девочке И. Что за мир! А он несет его в равновесии. Нет, Милена, Вам не стоит возражать против равновесия.

Ваш Ф.

Завтра вновь. Но если окажется послезавтра, уж пожалуйста, без «ненависти», обойдемся без нее.

Я еще раз перечитал воскресное письмо, оно еще ужаснее, чем я думал после первого прочтения. Надо бы, Милена, взять Ваше лицо в ладони и посмотреть Вам прямо в глаза, чтобы в глазах другого Вы увидели себя и отныне были не способны даже помыслить такие вещи, которые Вы там написали.

Пятница

Когда же наконец нелепый мир хоть немного подправят? Днем ходишь с измученной головой – здесь на горах повсюду до того красивые развалины, что, кажется, и сам ты непременно должен стать таким же красивым, – а в постели вместо сна приходят просто замечательные мысли. Сегодня, например, в дополнение к вчерашнему предложению мне пришло в голову, что на лето Вам бы не мешало отправиться к Стасе.[16] Вы ведь писали, что она живет в деревне. Вчера я написал глупость, что-де Вам в иные месяцы будет не хватать денег, это вздор, нехватки в них не будет никогда.

Утреннее и вечернее письмо от вторника подтверждает ценность моего предложения, что не особенно и случайно, ибо ценность предложения должна подтверждаться всем, всем без исключения. Если в нем есть лукавство – да где ж его нету, этого жуткого зверя, который при необходимости умеет сделаться совсем маленьким, – то я буду держать его в узде, даже Ваш муж может в этом мне полностью довериться. Что-то я преувеличиваю. И все-таки: доверять мне можно. Я не буду видеться с Вами, ни теперь, ни потом. Вы будете жить в деревне, которую так любите, (В этом мы схожи, спокойные края, по соседству со Срединными горами, я люблю более всего, и чтоб обязательно было озеро и лес.)

Вы недооцениваете воздействие своих писем, Милена. Письма от понедельника (jen strach o Vas[17]) я пока еще не дочитал (попытался сегодня утром, с некоторым успехом, ведь благодаря моему предложению они уже чуточку стали историей, но до конца покуда добраться не смог). Зато письмо от вторника и странная открытка – написанная в кофейне? – на Ваше обвинение по адресу Верфеля[18] мне еще предстоит ответить, я ведь, собственно, ни на что Вам не отвечаю, Вы отвечаете куда лучше, и это очень приятно, внушает мне, несмотря на бессонную ночь из-за письма от понедельника, достаточно спокойствия и уверенности. Конечно, в письме от вторника тоже есть острый шип, и он вонзается в тело, но ведешь его ты, а чего – конечно, это лишь минутная истина, истина минуты, трепещущей счастьем и болью, – чего бы я не смог от тебя вытерпеть?

Ф.

Пожалуйста, если это Вам не неприятно, ради меня скажите Верфелю что-нибудь доброе. – Кое на что Вы, к сожалению, все же не отвечаете, например на вопрос по поводу Ваших писаний.

Давеча Вы опять мне приснились, сон был длинный, но я почти ничего не помню. Я был в Вене, но про это ничего не помню, потом очутился в Праге и забыл Ваш адрес, не только улицу, но и город, все-все, только имя Шрайбер почему-то всплыло, однако ж я не знал, что с ним делать. Стало быть, я совсем Вас потерял. В отчаянии я придумывал всякие хитрости, но, не знаю почему, они не были выполнены, и помню я из них только одну. Я написал на конверте: «Милена», а внизу: «Прошу доставить это письмо, ибо в противном случае финансовое ведомство понесет огромные убытки». Этой угрозой я надеялся мобилизовать на Ваши розыски все вспомогательные средства государства. Хитро? И пусть это не восстановит Вас против меня. Я только во сне такой жутковатый.

Опять вынимаю письмо из конверта, вот это место: пожалуйста, скажи мне еще раз – не всегда, этого я не желаю, – еще раз скажи мне «ты».

Вторник

Считаю: написано в субботу и, несмотря на воскресенье, получено уже во вторник в полдень, выхвачено во вторник из рук почтарки, до чего же замечательная почтовая связь, а я в понедельник уеду и лишусь ее.

Как мило с Вашей стороны, что Вы беспокоитесь, Вам недостает писем, да, на прошлой неделе я день-другой не писал, но начиная с

субботы пишу ежедневно, так что Вы получили три письма, по сравнению с которыми бесписьменное время покажется Вам счастьем. Вы поймете, что все Ваши опасения вполне оправданны, то есть что я очень сердит на Вас вообще и что в особенности в Ваших письмах многое мне совсем не понравилось, что фельетоны меня раздражали и проч. Нет, Милена, этого всего Вам опасаться незачем, но трепещите перед противоположностью!

Как замечательно, что я получил Ваше письмо и должен отвечать Вам на бессонную голову. Не знаю, что написать, просто брожу здесь между строчек, под светом Ваших глаз, в дыхании Ваших губ, словно прекрасным счастливым днем, который остается прекрасным и счастливым, хотя голова болит от усталости, а в понедельник надо будет уезжать отсюда через Мюнхен.

Ваш Ф.

Из-за меня Вы бегом, во весь дух бежали домой? Да, но разве Вы не больны и разве я более о Вас не тревожусь? В самом деле, я больше не тревожусь – нет, я опять преувеличиваю, как тогда, но тревожусь я так, словно Вы находитесь здесь под моим присмотром, словно я пью молоко и одновременно пою им Вас, дышу воздухом, который льется ко мне из сада, и одновременно укрепляю им Вас, нет, этого мало, я куда больше укрепляю им Вас, нежели себя.

Вероятно, по ряду причин уеду я не в понедельник, а немного попозже. Но в таком случае прямо в Прагу, с недавних пор ходит прямой скорый поезд Боцен – Мюнхен – Прага. Если Вы хотите черкнуть мне еще несколько слов, то вполне можете это сделать; если Ваше письмо меня не застанет, его перешлют мне в Прагу.

Оставайтесь добры ко мне!

Ф.

Все ж таки человек – образец глупости. Я читаю книгу о Тибете, дохожу до описания поселка в горах у тибетской границы, и вдруг на сердце становится тяжело, столь безутешно сиротливой представляется мне там эта деревушка, такая далекая от Вены. Причем глупостью я называю то, что Тибет далеко от Вены. Разве же далеко?

Меран, 30 мая

Как обстоят дела с Вашим знанием людей, Милена?

Иногда я уже начинаю в нем сомневаться, например когда Вы пишете о Верфеле; в Ваших строчках звучит и любовь (и, может быть, только любовь), но любовь недопонимающая; если, однако, отвлечься от всего, чем является Верфель как человек, и судить его только как толстяка (кстати, и этот упрек представляется мне незаслуженным, – по-моему, Верфель год от года становится все красивее и милее, правда, мы видимся лишь мельком), разве не известно Вам, что только толстяки и заслуживают доверия? Только в этих толстенных сосудах все доваривается до готовности, только эти капиталисты воздушного пространства ограждены от забот и безумия, насколько это вообще возможно для человека, они могут спокойно заниматься своим делом, и лишь в них одних, как кто-то однажды сказал, есть прок на земле как от ее подлинных граждан, ибо на севере они согревают, а на юге дают тень. (Можно, конечно, сказать и наоборот, но тогда это будет неправда.)

Теперь о еврействе. Вы спрашиваете меня, не еврей ли я; может, это просто шутка, а может, Вы хотите лишь узнать, не из тех ли я запуганных евреев; но Вы все-таки пражанка и потому не можете быть в этом отношении столь же наивной, как, скажем, Матильда, жена Гейне. Кстати, знаете ли Вы эту историю? Вообще-то у меня нашлось бы что поважнее Вам рассказать, да еще я наверняка себе же как-то и наврежу – не самой историей, а тем, что ее рассказываю; но ведь Вам интересно будет услышать от меня для разнообразия что-нибудь забавное. Майснер, немецкий поэт из Богемии,[22] не еврей, рассказывает эту историю в своих воспоминаниях. Матильда всегда раздражала его своими выпадами против немцев: и ехидны-то они, и язвительны, и самонадеянны, и мелочны, и навязчивы – короче говоря, несносный народ! Майснер однажды не выдержал и сказал: «Но вы же совсем не знаете немцев! Генрих общается только с немецкими журналистами, а они тут в Париже все евреи». – «Ах, – говорит Матильда, – все-то вы преувеличиваете. Один-другой среди них, может, и найдется, например Зейферт...» – «Нет, – говорит Майснер, – он тут единственный не еврей». – «То есть как? – удивляется Матильда. – Вот Ейтелес – он что, еврей?» (А это был могучий белокурый верзила.) – «Еще какой!» – отвечает Майснер. «Но Бамбергер?» – «Он тоже». – «А Арнштейн?» – «И он». Так они перебрали всех знакомых. В конце концов Матильда разозлилась и сказала: «Вы просто смеетесь надо мной. Вы еще скажете, что Кон тоже еврейская фамилия, но ведь Кон зять Генриха, а Генрих лютеранин». На это уж Майснеру было нечего возразить. – Как бы то ни было, Вы, похоже, не боитесь евреев. Применительно к нынешнему и предшествовавшему поколениям евреев в наших городах это почти геройство, и – шутки далеко в сторону! – если чистое юное создание говорит своим родителям: «Пустите меня!» – и уходит к еврею, это куда более значительное событие, чем уход Орлеанской девы из своей деревни.

В таком случае Вы, конечно, вправе упрекать евреев в излишней запуганности, хотя такой упрек свидетельствует больше о теоретическом, нежели о практическом знании людей; теоретическом – потому что, во-первых, этот упрек, судя по Вашему же прежнему описанию, нисколько не затрагивает Вашего мужа; во-вторых, он, судя по моему опыту, не затрагивает и большинство евреев; в-третьих, он затрагивает лишь отдельные экземпляры, но уж их-то весьма сильно, – например, меня. Самое тут удивительное – что упрек несправедлив по отношению к большинству. Казалось бы, общее чувство неуверенности у евреев (тут и неуверенность внутренняя, и неуверенность в окружении, среди людей) должно делать более чем понятной их привычку считать своим лишь то, что ухвачено руками или зубами; только прочная хватка дает им право на жизнь, ведь упусти они однажды что-то, оно к ним уже никогда не вернется, а тихомирно уплывет от них. С самых неожиданных сторон евреям грозят опасности – или, чтоб быть точнее, оставим опасности и скажем: «им грозят угрозы». За примерами ходить далеко не надо – вот один, касающийся Вас. Правда, я, кажется, обещал в свое время молчать (тогда я еще едва был знаком с Вами), но без всяких угрызений совести расскажу Вам об этом, ибо ничего нового Вы не узнаете, зато оцените любовь своих родных, а имен и деталей я приводить не буду, я их уже не помню. Моя младшая сестра собиралась замуж за чеха, христианина, он однажды обмолвился одной Вашей родственнице о своем намерении жениться на еврейке, а та сказала: «Боже упаси! Связываться с евреями? Вот послушайте: наша Милена...» и т. д.

Куда я намеревался Вас со всем этим вывести? Я немножко заблудился, но это ничего, потому что, надеюсь, Вы шли со мной и мы заблудились вместе. Кстати, что самое прекрасное в Вашем переводе – это его верность (браните меня за эту «верность» сколько угодно, Вы все можете, но браниться, наверное, идет Вам лучше всего, я хотел бы быть Вашим учеником и все время делать ошибки, только чтобы Вы все время меня бранили; сидишь за партой, едва решаешься поднять глаза, а Вы наклоняетесь над тетрадкой, и все время мелькает Ваш палец, тычущий в ошибки, – так ведь, да?), – стало быть, перевод «верен», и у меня такое чувство, что я вел Вас за руку по мрачным, низким, страшным подземным ходам и переходам своей истории, почти бесконечным (потому и предложения бесконечны, разве Вы это не поняли?), почти бесконечно (Вы сказали, только два месяца?), а потом по выходе, при свете дня, как я надеюсь, нашел в себе достаточно здравого разума, чтобы исчезнуть без следа.

Это мне знак кончить на сегодня, отпустить на сегодня благословенную руку. Завтра я напишу снова и объясню, почему я – насколько я могу за себя ругаться – не приеду в Вену, и я не успокоюсь, пока Вы не скажете: он прав.

Ваш Ф.

Пожалуйста, пишите адрес поразборчивее; когда письмо Ваше уже в конверте, оно уже почти моя собственность, и Вам надо обращаться с чужой собственностью бережнее, с большей ответственностью. Так.[23]

Кстати, у меня тоже такое впечатление, совершенно безотчетное, что одно из моих писем потерялось. Опасливость евреев! Бояться-то надо другого – что письма благополучно дойдут!

Сейчас я скажу еще одну глупость по этому же поводу, вернее, глупость состоит в том, что я говорю то, что полагаю правильным, не принимая во внимание, что мне это вредит. А вдобавок еще и Милена рассуждает об опасливости, толкает меня в грудь или спрашивает о том, что в чешском и по жесту, и по звучанию совершенно одинаково: Jste zid?.[24] Разве Вы не видите, как в этом «jste» кулак замахивается, собирая мускульную силу? А затем в «zid» наносит радостный, безошибочный, устремленный вперед удар? Такие побочные воздействия чешский язык нередко оказывает на немецкое ухо. Например, Вы однажды спросили, как это я умудряюсь поставить свое пребывание здесь в зависимость от письма, и тотчас же сами ответили: «necharu» [25] Странное слово в чешском, а тем паче в Вашем языке, такое суровое, безучастное, холодное, экономное, а главное – похожее на щипцы для орехов, трижды на этом слове челюсти щелкают, точнее сказать: первый слог пытается схватить орех, второй слог распахивает рот пошире, теперь орех вполне туда входит, и, наконец, третий раскалывает скорлупу, Вы слышите зубы? Особенно это решительное смыкание губ в конце запрещает другому какое бы то ни было иное, противоположное объяснение, что порой очень даже неплохо, например когда другой так болтлив, как я сейчас.[26] На что болтун опять-таки, оправдываясь, говорит: «Ведь болтаешь, только когда немножко радуешься».

Кстати, письма от Вас нынче не было. А что я, собственно, хотел в заключение сказать, до сих пор так и не сказал. В другой раз. Мне очень, очень хочется услышать завтра что-нибудь от Вас, ведь последние слова, какие я услышал от Вас перед тем, как захлопнулась дверь – все захлопывающиеся двери отвратительны, – были ужасны.

Ваш Ф.

Меран, 31 мая, Понедельник

Итак, обещанное вчера объяснение.

Я не хочу (Милена, помогите мне! Постарайтесь понять больше, чем я говорю!), не хочу (но не подумайте тут, что я заикаюсь), не хочу приезжать в Вену, потому что мой слабый дух не выдержал бы такого напряжения. Я болен духом, а заболевание легких лишь следствие того, что духовная болезнь вышла из берегов. Я болен так вот уже в течение четырех-пяти лет, со времени моих двух помолвок. (Все никак не мог объяснить себе беззаботно-веселый тон Вашего последнего письма, только потом понял: я постоюнно в конце запыаю, что Вы еще так молоды, Вам, наверное, и двадцати пяти еще нет, а то и года двадцать три всего.

Мне тридцать семь, почти тридцать восемь, я почти на целое подрастающее поколение старше Вас, почти сед от стариковских ночей и мигреней.) Не буду разворачивать перед Вами всю эту долгую историю с ее поистине дремучими дебрями подробностей, которых я и сейчас страшусь как ребенок, только без ребяческого дара забвения. Общим для всех трех помолвок было то, что кругом был виноват я, виноват бесспорно, обеих девушек я сделал несчастными, а именно (тут я говорю только о первой, о второй не могу говорить, она очень впечатлительна, каждое слово, даже самое доброе, нанесло бы ей ужаснейшую обиду, и я ее понимаю) – а именно лишь потому, что я вопреки всем ее стараниям (а она, стоило мне пожелать, принесла бы, наверное, себя в жертву) не мог быть все время веселым, спокойным, решительным – в общем, готовым к супружеству, хотя я снова и снова, и по собственному побуждению, обещал ей это, хотя я подчас отчаянно бывал влюблен в нее, хотя ничего не было для меня желаннее, чем супружество как таковое. Почти пять лет я непрерывно обрушивал на нее (или, если угодно, на себя) удар за ударом; к счастью, она оказалась несокрушимой – смесь пруссачества и еврейства, смесь сильная, победоносная. Я не был столь крепок; правда, ей приходилось только страдать, а я одновременно и наносил удары, и страдал.

Все, больше писать не могу, объяснять тоже, хотя я только-только начал описывать духовную болезнь и собирался привести другие причины, по которым не могу приехать, – пришла телеграмма: «Касательно встречи Карлсбаде прошу письменного уведомления». Признаюсь, когда я ее вскрывал, она сделала ужасное лицо, хотя за нею стоит самое беззаветное, самое тихое, самое скромное существо и хотя все, собственно, восходит к моим собственным намерениям. Сейчас мне этого не объяснить, ведь не могу же я ссылаться на описание болезни. Ясно пока одно: в понедельник я отсюда уезжаю; порой я смотрю на телеграмму и толком не могу ее прочесть, в ней словом присутствует тайнопись, которая стирает верхние письма и гласит: езжай через Вену! – очевидный приказ, но без жути приказов. Я этого не делаю, даже на самый поверхностный взгляд нелепо – ехать не короткой дорогой через Мюнхен, а вдвое более долгой через Линц, да еще и делая крюк через Вену. Ставлю опыт: воробей на балконе ждет, что я брошу ему хлеб со стола на балкон, вместо этого я бросаю хлеб подле себя, в середине комнаты, на пол. Он стоит снаружи и видит в полумраке свою любимую еду, которая невероятно его притягивает, он встряхивается, он уже скорее здесь, чем там, но здесь темно и рядом с хлебом я, тайная мощь. Все-таки он перескакивает через порог, делает еще прыжок-другой, на большее не отваживается, внезапно пугается и улетает. Но какие

силы заключены в этой невзрачной пучке – немного погодя воробей опять здесь, изучает обстановку, я подсылаю еще крошек, чтобы облегчить ему дело, и – не спугни я его нарочно-нечаянно (так действует тайная мощь) неприметным движением – он бы добыл себе хлеба.

Что ж, в конце июня мой отпуск заканчивается, и для перехода – вдобавок здесь уже становится слишком жарко, что, впрочем, само по себе мне бы и не помешало, – я хочу пожить еще где-нибудь за городом. Она тоже собиралась приехать, и мы там встретимся, я останусь там на несколько дней и, возможно, проведу еще день-другой с родителями в Константинсбаде, а потом поеду в Прагу; обдумывая эти поездки и сравнивая их с состоянием моей головы, я испытываю примерно такое ощущение, какое наверняка было бы у Наполеона, если бы он, набрасывая планы русской кампании, заранее точно знал ее исход.

В ту пору, когда от Вас пришло первое письмо, по-моему, это было незадолго до намечавшейся свадьбы (планы которой, к примеру, были целиком и полностью делом моих рук), я обрадовался и показал его ей. Позднее – нет, довольно, ни слова более, и это письмо я рвать не стану, у нас сходные привычки, только у меня под рукой нет печи, и я почти в ужасе думаю, что вполне мог послать на обороте такого начатого письма записку той девушке.

Но это несущественно, я и без телеграммы не смог бы приехать в Вену, напротив, телеграмма скорее аргумент в пользу поездки. Я наверняка не приеду, а если все-таки – этого не произойдет – вдруг, к своему ужасу, окажусь в Вене, мне понадобятся не завтрак и не ужин, а скорее носилки, чтобы ненадолго на них прилечь.

Ваш Ф.

Если бы Вы разок черкнули мне словечко в Карлсбад, до востребования... Нет, сперва лучше в Прагу.

Что это за невыносимые школы, где Вы преподаете, две сотни учеников, пять десятков учеников. Хотелось бы мне посидеть у окна в последнем ряду, целый урок, тогда я откажусь от всякого свидания с Вами (которое, кстати, и без того не состоится), откажусь от всех поездок – довольно, эта белая бумага, которой конца-краю нет, жжет глаза, потому-то и пишешь.

То было после обеда, сейчас без малого одиннадцать. Я устроил все так, как в ту минуту было единственно возможно. Телеграфировал в Прагу, что не смогу приехать в Карлсбад, объясню это нервным расстройством, что, с одной стороны, очень верно, с другой же – не очень последовательно, ведь как раз из-за этого расстройства я раньше и собирался в Карлсбад. Вот так я играю с живым человеком. Но иначе я не могу, потому что в Карлсбаде я бы не смог ни говорить, ни молчать, точнее: я бы говорил, даже молча, ведь я сейчас – одно-единственное слово. Поеду я теперь безусловно не через Вену, а в понедельник через Мюнхен, куда – не знаю, в Карлсбад, в Мариенбад, во всяком случае один. Писать Вам я буду, [может быть[27]], письма же от Вас получу только в Праге, только через три недели.

Меран, 2 июня, Четверг

Видите, Милена: утро, я лежу в качалке, раздетый, наполовину на солнце, наполовину в тени, после почти бессонной ночи; мог ли я заснуть, если я, слишком легкий для сна, все время кружил над Вами, если я в самом деле, точь-в-точь как Вы пишете, был в ужасе от того, что «плывет ко мне в руки», в таком же ужасе, какой, по рассказам, овладел пророками, которые были слабыми детьми (уже или еще, в данном случае не важно) и вдруг услышали голос, их призывавший, и ужаснулись, и не хотели, и упирались ногами в землю, охваченные раздирающим мозг страхом, – а ведь они и раньше слышали голоса, но тут не могли понять, почему именно этот голос звучит так ужасно, слух ли их слишком слаб, или голос слишком могуч, – и не понимали также, будучи детьми, что голос уже одержал победу и расположился в них именно благодаря этому предпосланному вещему страху, ими испытанному, – хотя само по себе это еще ничего не говорит об их пророческом призвании, ибо голос слышат многие, а вот достойны ли они его, это, если смотреть непредубежденно, еще вопрос, и безопасности ради лучше сразу ответить на него строгим и решительным «нет», – в общем, вот так я лежал, когда пришли оба Ваших письма.

Одно свойство, кажется, у нас общее, Милена: мы так робки и запуганы, каждое письмо уже иное, почти каждое страшится предшествовавшего, а еще более – ответного. Вы-то по природе не таковы, это сразу видно, а я – может быть, даже и я по природе не таков, но это почти стало природой и проходит лишь в приливе отчаяния, разве что еще в гневе и – не забыть – в страхе.

Иногда у меня такое впечатление, что у нас с Вами общая комната с двумя дверьми, расположенными друг против друга, каждый держится за ручку, и чуть у одного дрогнут ресницы, как другой уже выскальзывает в дверь, а стоит первому сказать еще хоть слово, другой наверняка в следующую секунду захлопнет за собой дверь, и только его и видели. Он, конечно же, откроет дверь снова, ибо эту их комнату, наверное, и покинуть-то невозможно. Не будь первый двойником второго, он был бы спокойнее, он делал бы вид, что и не смотрит в ту сторону, не спеша прибирался бы в комнате, как будто она ничем не отличается от всех других, – но куда там, он делает то же самое у своей двери, а иной раз они даже оба оказываются за дверьми, и вот прекрасная комната пуста.

Из этого проистекают мучительные недоразумения. Вы жалуетесь, Милена, что из некоторых моих писем, как их ни верти, ничего не вытрясешь, а ведь это все, если я не ошибаюсь, как раз те самые письма, в которых я был так близок к Вам, так укрощал свою кровь (и Вашу тоже), и такая была в них лесная глубь, такое успокоение в покое, когда и впрямь неохота говорить ничего другого, кроме того лишь, что сквозь верхушки деревьев видно небо, и это все, а через час повторяешь то же самое, – хотя, Вы правы, в этом «ani jedine slovo, ktere by nebylo velmi dobre uvazeno».[19] Такое блаженство и длится недолго, разве что миг, – и снова трубит в свои трубы бессонная ночь.

Подумайте также о том, Милена, как я пришел к Вам, какое проделал тридцативосьмилетнее странствие (а поскольку я еврей, то оно длилось еще дольше), и когда я на будто бы случайном повороте дороги вдруг вижу Вас, ту, кого никогда и не мечтал увидеть, а уж тем более теперь, с таким запозданием, – тогда, Милена, не могу я кричать, ничто не кричит во мне, и тысячу глупостей не могу говорить, их нет во мне (если отвлечься сейчас от другой глупости, коей во мне предостаточно), и о том, что я упал на колени, я узнаю, наверное, лишь по тому, что вдруг вижу прямо перед глазами Ваши ноги и благоговейно касаюсь их.

И не требуйте от меня искренности, Милена. Никто не может требовать ее от меня настойчивей, чем я сам, однако многое, многое от меня ускользает, может быть, даже все. Но и все попытки ободрить меня на этой охоте бесполезны, они меня не ободряют, напротив, тогда уж я вообще не могу сделать ни шага, молодая, красивая, и сияние Ваших глаз лучами своими подавляет мирскую скорбь. Тут играют в «Skatule skatule hejbejte se» [20] – я крадусь в тени от одного дерева к другому, я уже на полпути, Вы окликаете меня, предупреждаете об опасностях, хотите меня подбодрить, ужасаетесь тому, как неверен мой шаг, напоминаете мне (мне!), что игра идет всерьез, – а я не могу, я падаю, я уже повержен ниц. Я не могу слушаться одновременно ужасных голосов моей души – и Вас, но я могу слушать те и доверять их речи Вам – только Вам и никому другому на свете.

Ваш Ф.

Меран, 6 июня, Воскресенье

Эта речь на двух страницах Вашего письма, Милена, идет из глубины сердца, раненого сердца («to мне rozbolelo» [21] – стоит там, и это сделал я, я – Вам!), но звучит так чисто и гордо, словно удар поразил не сердце, а сталь; и требуете Вы лишь естественного, но в то же время неверно меня понимаете, ибо эти мои «смешные» люди на самом деле и Ваши тоже, а потом: разве в Вашей с мужем истории я встаю на чью-либо сторону? Где Вы это увидели? В каком моем предложении вычитали эту безумную мысль? Да и как я могу тут судить, когда во всяком реальном смысле – коснись дело супружества, работы, жертвенности, мужества, чистоты, свободы, самостоятельности, правдивости – я стою настолько ниже вас обоих, что даже и говорить-то об этом мне претит. А где я осмелился предложить действительную помощь, да если б даже и осмелился, каким образом я мог бы ее оказать? Но довольно вопросов; они крепко спали в подземной ночи; зачем вызывать их на свет дня? Они печальны и серы – и делают человека таким же. О, не говорите, что два часа жизни дают несравнимо больше, чем две страницы письма (письмо бедней, но и ясней, и чище), – итак, Вы неверно меня поняли, но все равно: речь обращена ко мне, а я отнюдь не безвиновен, и, как это ни странно, главным образом именно потому, что на все вышеназванные вопросы могу отвечать лишь одним «нет» и «никогда». А потом пришла Ваша милая, милая телеграмма, успокоительное средство против ночи, этой давней врагини (если оно плохо действует, то Вы тут воистину ни при чем, виновата ночь; эти короткие земные ночи способны вселить в человека ужас перед вечным сном); правда, и в письме Вашем так много утешения, и утешения чудесного, но письмо все-таки единое целое, в котором бушует ураган тех двух страниц, а телеграмма сама по себе и ничего об этом не ведает. Но вот что я могу ответить этой телеграмме, Милена: если бы я, отвлекаясь сейчас от всего остального, приехал в Вену и Вы эту речь (как я уже сказал, она вовсе не прошла для меня бесследно, она меня затронула, и по праву затронула – хоть и не в полную меру, но все-таки сильно) произнесли бы мне в лицо (а она так или иначе непременно была бы высказана – не в словах, так в мыслях, во взгляде, в дрожании ресниц – либо, по крайней мере, подразумевалась бы), – тогда бы я, будто сраженный одним ударом, просто рухнул и растянулся бы во всю длину, и никакая сиделка, призови Вы ее на помощь, не смогла бы снова поставить меня на ноги. А не произойди это так, было бы, чего доброго, и еще хуже. Вот видите, Милена.

Ваш Ф.

Суббота

Я постоянно спрашиваю себя, поняли ли Вы, что ввиду общего моего состояния мой ответ должен был быть именно таким, каким и был, он даже получился еще слишком мягким, слишком обманчивым, слишком приукрашенным. Постоянно, день и ночь, я спрашиваю себя об этом, трепеща перед Вашим ответным письмом, спрашиваю без толку, будто мне велено целую неделю, без перерыва на ночь, забивать гвоздь в камень, быть сразу и работником, и гвоздем. Милена!

Прошел слух – я не могу ему поверить, – что сегодня вечером из-за забастовки остановится железнодорожное сообщение с Тиролем.

Суббота

Пришло Ваше письмо, счастье Вашего письма. Кроме всего остального, что в нем содержится, там есть главное место: что Вы, вероятно, более не сможете писать мне в Прагу. Я подчеркиваю это в первую очередь, чтобы весь мир видел это отдельно, в том числе и Вы, Милена. Вот, значит, чем грозят человеку, хотя, по крайней мере отдаленно, знают его резоны, вдобавок еще и притворяются, будто относятся к этому человеку хорошо.

Но, возможно, Вы даже и правы, что не будете мне более писать, кой-какие места в Вашем письме намекают на такую необходимость. Против этих мест мне возразить нечего. Они как раз те самые, где я точно знаю и со всей серьезностью признаю, что я на большой высоте, но именно оттого воздух там слишком разрежен для моих легких и я должен отдохнуть.

Ваш Ф.

Завтра напишу.

Понедельник

Ты права, когда я сейчас – письма я получил, к сожалению, поздно вечером, а завтра утром намереваюсь совершить с инженером небольшую прогулку в Боцен – прочитал упрек по поводу «детки», я вправду сказал себе: довольно, эти письма сегодня читать нельзя, надо хоть немножко поспать, если утром ты думаешь совершить прогулку, – и прошло некоторое время, прежде чем я продолжил чтение, и понял, и напряжение отпустило, и я, если бы ты была здесь (я имею в виду не только телесную близость), мог бы с облегчением уткнуться лицом тебе в колени. Ведь это болезнь, верно? Я ведь знаю тебя, а еще знаю, что «детка» уж вовсе не такое ужасное обращение. Шутки я тоже понимаю, но все может оказаться для меня и угрозой. Если ты напишешь: «Вчера я считала все „и“ в твоём письме, получилось столько-то; как ты смеешь писать мне „и“, да еще столько-то раз», – то и я, коли ты останешься серьезна, скорей всего искренне решу, что тем обидел тебя, и буду несчастен. Ведь в конце концов это вправду могло бы нанести обиду, проверить-то трудно.

Не забывай и о том, что хоть сами по себе шутка и серьезность легко различимы, но у людей, которые для тебя значат так много, что от них зависит твоя жизнь, это опять-таки нелегко, риск очень уж велик, глаза делаются как микроскопы и тогда вовсе перестают что-либо различать. В этом смысле я и в сильные мои времена был не силен. Например, в первом классе начальной школы. Наша кухарка, маленькая, сухая, тощая, востроносая, с впалыми щеками, желтоватая, но крепкая, энергичная и уверенная, каждое утро отводила меня в школу. Мы жили в доме, который отделяет малый Ринг от большого. И сперва надо было перейти через Ринг, потом через Тайнгассе, затем через подобие подворотни выйти на Фляйшмарктгассе и вниз на Фляйшмаркт. И вот, пожалуй, целый год каждое утро повторялось одно и то же.

Выходя из дому, кухарка говорила, что расскажет учителю, каким неслухом я был дома. Ну, я, наверное, был не столько неслух, сколько упрямец, никчемный, унылый, злой, и, конечно, для учителя всегда бы нашлось что-нибудь веселенькое. Я это понимал и оттого воспринимал кухаркину угрозу вполне всерьез. Но вначале я думал, что идти до школы очень и очень далеко и по дороге много чего может случиться (вот из такого мнимого детского легкомыслия мало-помалу, оттого что дороги отнюдь не очень долги, вырастает эта робость и мертвоглазая серьезность), и по крайней мере на Староместском Ринге я еще очень сомневался, дерзнет ли кухарка, персона важная, но важная все же только дома, заговорить с учителем, ведь он персона всемирно важная. Вероятно, я даже и говорил что-то в этом духе, и тогда кухарка, по обыкновению коротко, едва разжимая узкие безжалостные губы, отвечала, что я могу и не верить, но она скажет. Неподалеку от выхода на Фляйшмарктгассе – для меня это по сей день местечко исторически знаменательное (в каком районе ты жила в детстве?) – ужас перед угрозой перевешивал. Школа и без того была для меня кошмаром, а тут еще и кухарка добавляла жути. Я принимался упрашивать, она мотала головой, чем больше я просил, тем важнее казалась мне моя просьба и тем страшнее опасность, я останавливался, просил прощения, она тащила меня дальше, я грозил ей родительским возмездием, она смеялась, здесь она была всеильна, я хватался за двери магазинов, за углы домов, не хотел идти дальше, пока она меня не простит, за юбку тянул ее назад (ей тоже приходилось нелегко), но она волокла меня вперед, уверяя, что и это расскажет учителю, мы уже опаздывали, часы на церкви Иакова били восемь, слышался школьный звонок, другие дети припускали бегом, а опоздания я всегда боялся панически, мы тоже припускали бегом, а в голове стучало: «Скажет – не скажет»... В общем, она ничего не говорила, никогда, но возможность-то у нее была всегда, притом как бы растущая (вчера я не сказала, а вот сегодня скажу непременно), и от этой возможности она не отказывалась. Иногда – только подумай, Милена, – от ярости на меня она топала ногами по мостовой, и, бывало, какая-нибудь угольщица все это видела. Милена, ах, что за глупости и до какой же степени я принадлежу тебе вместе со всеми кухарками, и угрозами, и всей этой немислимой пылью, взбудораженной 38 годами и оседающей в легких.

Но я вовсе не хотел этого говорить или хотел, только по-другому, уже поздно, придется заканчивать и ложиться спать, а спать я не смогу, потому что оставил письмо к тебе недописанным. Если когда-нибудь ты захочешь узнать, как я жил раньше, я пришлю тебе из Праги громадное письмо, которое примерно полгода назад написал отцу, но так и не отдал.

А на твое письмо я отвечу завтра либо, если припозднусь, послезавтра. Я задержусь здесь еще на день-другой, потому что решил не ездить к родителям во Франценсбад, впрочем, то, что я просто остаюсь лежать на балконе, вообще-то решением назвать нельзя.

Еще раз спасибо тебе за письмо.

Ф.

Вторник

Сегодня опять видел тебя во сне. Мы сидели рядом, и ты отталкивала меня, не сердито, дружелюбно. Я был очень несчастен. Не из-за отталкивания, а из-за себя самого, ведь я отнесся к тебе как к первой встречной безмолвной женщине и пропустил мимо ушей голос, который шел из тебя и обращался прямо ко мне. Или, может быть, и не пропустил мимо ушей, но не мог ответить. Так и ушел, еще безутешнее, чем в первом сне.

Мне вспомнилось сейчас, что однажды я прочел у кого-то: «Моя любимая – огненный столп, скользящий по земле. И он держит меня в плену. Но ведет не плененных, а видящих».

Твой

(теперь я отбрасываю и имя тоже; оно все укорачивалось и теперь звучит так: твой)

Меран, 2 июня, Среда

Сегодня в обед пришли сразу два письма от Вас; их бы не читать, а разложить на столе, спрятать в них лицо и потерять рассудок. Но тут-то и выясняется, как это хорошо, что ты его уже почти потерял, потому что за остаток потом цепляешься как можно дольше. И потому мои 38 еврейских лет говорят перед лицом Ваших 24 христианских:

Да как же это так? Куда смотрели мировые законы и вся небесная полиция? Тебе 38 лет, и ты так устал, как, наверное, от возраста вообще не устают. Вернее сказать, ты вовсе не устал, а стал беспокойным, ты лишнего шагу боишься ступить на этой ошетинившейся ловушками земле, и потому у тебя фактически все время обе ноги в воздухе; ты не устал, а только боишься страшной усталости, которая последует за этим страшным беспокойством и которую (ты ведь еврей и знаешь, что такое страх) можно представить себе – в лучшем случае – как животное прозябание, с тупым идиотским взглядом, в садике сумасшедшего дома позади Карловой площади.

Хорошо, вот ты таков. Не в одно сражение умудрился ты ввязаться, сделал при этом несчастным и друга, и врага (а ведь вокруг-то были даже сплошь друзья, милые, добрые люди, не враги), стал при этом уже инвалидом, из тех, кого бросает в дрожь один вид игрушечного пистолета, и вот вдруг, вдруг ты будто оказываешься призванным к великой битве во избавление мира. Не странно ли все это?

Вспомни также, что, наверное, лучшей порой твоей жизни, о которой ты, собственно, никому еще по-настоящему не рассказывал, были те восемь месяцев в деревне два года тому назад.[33] когда ты, полагая, что уже подвел всему итог, сосредоточился только на самом в

тебе несомненно и ощущал себя свободным – без писем, без этой затяжной пятилетней переписки с Берлином.[34] под крылом твоей болезни – и при этом тебе вовсе не много надо было в себе менять, просто более твердой чертой обвести прежние тонкие контуры твоего существа (ведь лицо твое под седыми волосами почти не изменилось с тех пор, как тебе было шесть лет).

Что это был не конец, ты, к сожалению, понял за последние полтора года, и тут-то ты пал так, что ниже почти некуда (я не считаю последней осени, когда я честно вел борьбу за брак), и потянул за собой другого человека, милую и добрую девушку, образец жертвенного самоотречения, – о, ниже пасть некуда, никакого выхода, и в бездне тоже.

Хорошо, и вот тебя зовет Милена, и голос ее с равной силой проникает в разум и сердце. Милена, конечно, тебя не знает, несколько твоих рассказов и писем ослепили ее; она как море – в ней та же сила, что и в море с его водной громадой, но в неведении своем эта стихия обрушивается на тебя всей своей мощью, повинувшись воле мертвой, а главное, далекой луны. Она тебя не знает, но, возможно, предчувствует истину, когда зовет тебя. Ведь в том, что твое реальное присутствие уже не ослепит ее, ты можешь быть уверен. Не потому ли, трепетная душа, ты не хочешь прийти на зов, что именно этого и боишься?

Но если даже признать, что у тебя есть сотня других внутренних причин для отказа (а они в самом деле есть) и, помимо того, одна внешняя: ты ведь не сможешь говорить с Миленой или видеть ее, когда мужа при этом не будет, – даже если признать все это, остаются еще два соображения.

Во-первых, стоит тебе пообещать приехать, как Милене, возможно, уже и расхочется, чтобы ты приезжал, – причина тут будет не в нерешительности, нет, а в естественной усталости, – и она с удовольствием и облегчением отпустит тебя на все четыре стороны.

А во-вторых – ну что ж, поезжай в Вену! Милена ведь думает только о том, как откроется дверь. Она, конечно, откроется, а дальше что? В дверях воздвигнется тощий верзила с приветливой улыбкой на лице (улыбаться он будет беспрестанно, это у него от старой тетушки, она тоже беспрестанно улыбалась, и в обоих случаях это не намеренно, а просто от смущения) – и сядет потом, куда укажут. Тут-то, собственно, и будет конец всей торжественности и праздничности, ибо говорить он едва ли сможет, для этого в нем слишком мало жизненных сил (мой здешний новый сосед по столу сказал вчера по поводу вегетарианской диеты своего немого собрата: «По-моему, для умственной работы мясная пища просто необходима») – и он даже счастлив не будет, у него и для этого слишком мало жизненных сил.

Видите, Милена, я говорю откровенно. Но Вы умны, Вы сразу заметили, что хоть я и говорю правду (всю – безусловно и как на духу), но говорю слишком откровенно. Я ведь мог бы приехать без этих предуведомлений и в два счета Вас разочаровать. Если я так не поступил, то это лишнее доказательство моей правдивости – моей слабости.

Я останусь тут еще на две недели – главным образом потому, что стыжусь и страшусь вернуться с такими скудными результатами лечения. Дома и, что самое досадное, на службе[35] от этого моего лечебного отпуска ожидают чуть ли не выздоровления. Мучительны эти вопросы: «Ну, сколько ты прибавил?» (А ты все худеешь и худеешь.) «Не экономь на еде!» (Это намек на мою скупость – а я плачу за пансион, но есть не могу.) И другие шутки в этом же роде.

Есть еще много чего сказать, но тогда письмо не кончится вообще. Да, вот только еще что: если к концу этих двух недель Вы все так же твердо, как в пятницу, будете желать моего приезда – я приеду.

Ваш Ф.

Меран, 12 июня, Снова суббота

Милена, наши письма обгоняют друг друга, эту чехарду надо прекратить, она сведет нас с ума, тут уж и сам не знаешь, что ты написал, на что тебе отвечают, и дрожишь в любом случае. Твой чешский я прекрасно понимаю и смех твой слышу, но, погружаясь в твои письма, я лихорадочно роюсь и в слове, и в смехе и в конце концов слышу только слово; да ведь и основа моего существа – страх.

По-прежнему ли ты хочешь меня видеть после моих последних писем, я не могу судить; свое отношение к тебе я знаю (ты – моя, даже если я тебя никогда не увижу), я знаю его в той мере, в какой оно не поглощается необозримыми пространствами страха, а вот твоего отношения ко мне, повторяю, я совсем не знаю, Милена.[36]

Для меня ужасно то, что происходит: мой мир рушится, мой мир снова встает из руин, вот и смотри, как тебе тут удержаться. Я не жалею на то, что он рушится, он давно уже шатался, я жалею на то, что он встает снова, на то, что я родился на свет, – и на свет солнца жалею тоже.

Как нам жить дальше? Если ты согласна с моими ответными письмами, тебе никак нельзя более жить в Вене, это просто невозможно.

Милена, речь-то не об этом, ты для меня не женщина, ты девочка, ничего столь девического я никогда прежде не видел, я не дерзну даже подать тебе руку, девочка, грязную, дрожащую, когтистую, порывистую, неуверенную, огненно-ледяную руку.

Ф.

Что до пражского посыльного, это плохой план. Ты найдешь только пустой дом – мое бюро. А я меж тем, закрыв лицо руками, буду сидеть за письменным столом по адресу: Староместский Ринг, 6, в третьем этаже.

Меран, 13 июня, Воскресенье

Сегодня, пожалуй, кое-что для тебя прояснится. Милена (какое царственно-тяжелое имя, такая в нем полнота, что его уже почти и не поднять, а ведь поначалу не очень мне нравилось, думалось – какой-то грек или римлянин, заблудившийся в Богемии, насильно превращенный в чеха, с искалеченным ударением,[28] и, однако, по цвету, по очерку – о чудо! – женщина, которую на руках надо унести из этого мира, из огня, уж не знаю из чего, и она доверчиво и покорно льнет к тебе, вот только сильное ударение на «и» сбивает с толку: а

вдруг это имя снова ускользнет от тебя? Или это всего лишь спасительный прыжок наудачу, который ты делаешь сам со своей драгоценной ношей?).

Ты пишешь письма двоякого рода, я не имею в виду: пером и карандашом, – хотя и карандаш сам по себе о чем-то говорит и уже заставляет насторожиться, но это различие не главное: например, последнее письмо с планом квартиры написано карандашом, и все же оно меня осчастливило; главное, мой страх – и, пойми: твоя молодость, твоя чистота, твое мужество; а ведь мой страх все растет, ибо он означает отступление перед натиском мира, а отсюда – усиление этого натиска и, опять-таки, усиление страха, твое же мужество означает наступление, отсюда – ослабление натиска и рост мужества – осчастливить меня могут только тихие письма; я бы так и сидел у их ног, счастливый без меры, это как дождь на пылающую голову. Но когда приходят те, другие письма – пускай даже они, по сути, приносят больше счастья, чем первые (только я по слабости своей лишь много дней спустя осознаю это счастье), – эти письма, начинающиеся восклицаниями (а ведь я так далеко!) и кончающиеся уж не знаю какими ужасами, – тогда, Милена, я в самом деле начинаю дрожать, будто при звуках штормового колокола, я не могу это читать и все же, конечно, читаю, как пьет воду измученный жаждой зверь, а страх все растет, что делать, я ищу, под какой стол или шкаф заползти, забываюсь в угол и молюсь, весь дрожа и теряя голову, молюсь, чтобы ты, бурей ворвавшаяся ко мне с этим письмом, снова улетела через распахнутое окно, ведь не могу же я держать в комнате бую; мне мнится, в таких письмах у тебя блистательная голова Медузы, змеи ужаса извиваются вокруг нее – а вокруг моей, понятно, еще исступленней выются змеи страха.[29]

Твое письмо от среды и четверга. Но детка, детка (собственно, это я так произношу Медуза). Ты принимаешь всерьез все мои глупые шутки (насчет «zid» и «пешари» и «ненавидеть»), а ведь я просто хотел немного тебя этим посмешить, от страха мы понимаем друг друга неправильно, только, пожалуйста, не заставляй меня писать по-чешски, здесь и тени укора не было, скорее я бы мог укорить тебя в том, что ты слишком хорошего мнения о евреях, которые тебе знакомы (в том числе обо мне), – есть и другие! – порой мне хочется их всех (в том числе и себя самого) именно как евреев затолкать в ящик комода, подождать немного, потом чуточку выдвинуть ящик и посмотреть, успели они все задохнуться или нет, и если нет, снова задвинуть ящик и вот так продолжать до конца...

То, что я сказал о твоей «речи», было, кстати, всерьез (снова и снова прокрадывается в письмо это «всерьез»). Наверное, я обхожусь с ним[30] – не могу задумываться об этом – до крайности несправедливо, но я испытываю почти столь же сильное ощущение, что связан с ним теперь, и связь эта все крепче и крепче, так и хочется сказать: не на жизнь, а на смерть. Если б я мог с ним поговорить! Но я боюсь его, он намного меня превосходит. Знаешь, Милена, когда ты ушла к нему, ты сделала большой шаг вниз с твоего уровня, но если ты придешь ко мне, то прыгнешь в пропасть. Ты знаешь это? Нет, в том письме была не моя «высота», а твоя) – я говорил о «речи», ты ведь в ней тоже была совершенно серьезна, в этом я не могу ошибаться.

Вновь слышу о твоей болезни. Милена, тебе бы надо лечь в постель. И наверное, стоило бы это сделать. А может быть, ты и лежишь, когда я это пишу. Разве месяц назад я не был лучше? Заботился о тебе (правда, лишь мысленно), знал о твоей болезни, а теперь ничего подобного, теперь я думаю только о моей болезни и моем здоровье, а между прочим, то и другое – это ты.

Ф.

Сегодня совершил небольшую прогулку, чтобы вместе с тем любимым инженером вырваться из этой бессонной атмосферы. Там я тоже написал тебе открытку, но не смог ее подписать и отослать, я больше не могу писать тебе как чужой.

Понедельник

Сегодня утром, перед тем как проснулся и едва только заснул, мне привиделся отвратительный, чтобы не сказать ужасный (к счастью, впечатление от сна быстро улетучивается), словом, просто отвратительный сон. Кстати, благодаря ему я немного поспал, от такого сновидения пробуждаешься, только когда оно заканчивается, раньше вырваться невозможно, оно держит тебя за язык.

Дело было в Вене, примерно так, как я представляю себе в грезах наяву свою туда поездку (в этих грезах Вена состоит из единственной тихой маленькой площади, одну ее сторону образует твой дом, напротив гостиница, где я буду жить, слева – Западный вокзал, на который я приезжаю, слева[31] от него – вокзал Франца Иосифа, с которого уеду, ну а в нижнем этаже моего дома приятнейшим образом расположена вегетарианская столовая, где я питаюсь, не ради питания, а чтобы привезти в Прагу некий вес. Зачем я это рассказываю? Вообще-то, к сну это прямо не относится, очевидно, я все еще боюсь его). Короче говоря, дело было не в точности так, близился вечер, город был по-настоящему большой, мокрый, темный, на улицах неузнаваемо сильное движение: длинный прямоугольный сквер отделял дом, где жил я, от твоего дома. Я приехал в Вену внезапно, обогнав собственные письма, которые еще находились на пути к тебе (позже это причиняло мне особенную боль). Так или иначе, ты была предупреждена, и я должен был с тобой встретиться. К счастью (но одновременно я испытывал и какое-то неудобство), я был не один, маленькая компания, в том числе, по-моему, и одна девушка, была вместе со мной, но точно я про них ничего не помню, они казались мне чем-то вроде секундентов. Быть бы им поспокойнее, так нет же – болтали между собой не закрывая рта, вероятно о моих делах, я слышал только нервничающее бормотание, но не понимал ни слова, да и не хотел понимать.

Я стоял на краю тротуара справа от моего дома и наблюдал за твоим. Низкая вилла с красивой простой каменной лоджией по фасаду, под округлым сводом, на высоте нижнего этажа.

Вдруг оказалось, что пора завтракать, в лоджии был накрыт стол, издали я видел, как пришел твой муж, сел в плетеное кресло справа, еще заспанный, потянулся, раскинул руки. Потом пришла ты и села за стол, причем так, что тебя было видно целиком. Правда, не вполне отчетливо, расстояние слишком большое, твой муж был виден гораздо яснее, не знаю почему, а ты оставалась всего лишь чем-то голубовато-белым, текучим, призрачным. Ты тоже раскинула руки, но не затем, чтобы потянуться, у тебя это была торжественная поза.

Немного погодя – однако ж день уже опять клонился к вечеру – ты очутилась на улице, рядом со мной, ты стояла на тротуаре, а я одной ногой на проезжей части, я держал твою руку, и у нас начался безумно быстрый короткофразный разговор: щелк-щелк, хлоп-хлоп, и так до конца сновидения, почти без остановки.

Пересказать его я не могу, помню, в сущности, только два первых и два последних предложения, а в промежутке – сплошная непередаваемая мука.

Вместо приветствия я быстро сказал (что-то в твоём лице принудило меня к этому): «Ты меня представляла иначе»; ты отвечаешь: «Откровенно говоря, я думала, ты более шикарный» (вообще-то ты использовала ещё более венское выражение, но я его забыл).

Таковы были два первых предложения (в этой связи мне вдруг пришло на ум: известно ли тебе, что я совершенно – причем подобного совершенства я никогда не встречал – немусыкален?), и в принципе тем самым все решилось, чего ещё нужно? Однако ж начались переговоры о новом свидании, самые что ни на есть неопределённые реплики с твоей стороны, непрерывные настойчивые вопросы с моей.

Тут вмещались мои спутники, возникло впечатление, что я приехал в Вену ещё и затем, чтобы посетить некое сельскохозяйственное училище неподалеку от Вены, мало того, теперь даже казалось, будто у меня и время для этого найдется, как видно, из сострадания хотели меня сплавить подальше. Я эту затею раскусил, но все-таки пошел с ними на вокзал, наверное, надеялся, что столь серьезные намерения с отъездом произведут на тебя впечатление. Мы все пришли на ближний вокзал, но тут обнаружилось, что я забыл название места, где расположено училище. Мы стояли перед большим расписанием поездов, все снова и снова водили пальцами по названиям станций и спрашивали меня: может, эта или эта, но нужное название не находилось.

Между тем я сумел немного рассмотреть тебя, кстати, мне было совершенно безразлично, как ты выглядишь, важны были только твои слова. Ты не очень-то походила на себя, казалась гораздо смуглее, лицо худое, при круглых щеках такая жестокость была бы и невозможна. (Но была ли это жестокость?) Костюм у тебя странным образом был из того же материала, что и мой, вдобавок весьма мужского покроя, и совершенно мне не понравился. Однако потом я вспомнил одно место из письма (стишок: «*dvøje saty mam a prese slusne vurađam*» [32]), и так велика была власть твоего слова надо мной, что с этой минуты твой наряд стал мне очень нравиться.

Но вот и конец; мои спутники ещё шгутировали расписание, а мы стояли в стороне и разговаривали. Последний этап беседы сводился примерно к следующему: завтра воскресенье; и тебе было до отвращения непонятно, как я мог вообразить, будто в воскресенье у тебя найдется для меня время. Но в конце концов ты вроде как уступила и сказала, что минут сорок, пожалуй, выкроишь. (Самое ужасное в этом разговоре, конечно, не слова, а подтекст, бесполезность всего, ну и ещё твой постоянный безмолвный довод: «Я не хочу приходить. И какой тебе прок от моего прихода?») Когда же именно ты выкроишь эти сорок минут, я не мог от тебя добиться. Ты сама не знала; несмотря на как будто бы напряжённые раздумья, не могла назначить время. Наконец я спросил: «Что же, мне целый день дожидаться?» – «Да», – сказала ты и отвернулась к стоявшей рядом, ожидавшей тебя компании. Смысл ответа был в том, что ты вовсе не придешь и что единственная уступка, какую ты могла мне сделать, это позволение ждать. «Я ждать не стану», – тихо сказал я, а поскольку думал, что ты не слышала, а это как-никак был мой последний козырь, я отчаянно выкрикнул эти слова тебе вдогонку. Но тебе это было безразлично. И ничуть тебя не интересовало. Я кое-как поплелся обратно в город.

А спустя два часа пришли письма и цветы, доброта и утешение.

Твой Ф.

Адреса, Милена, опять неразборчивы, почта их переписала и дополнила. После первой просьбы адрес был великолепный, образцовая пропись красивых, разнообразных, хотя опять-таки не очень разборчивых букв. Будь у служащих почты мои глаза, там бы, наверное, могли читать только твои адреса, и больше ничего. Но почта есть почта...

Меран, 23 июня, Среда

Трудно говорить правду, ибо хоть она и одна, но живая, и потому у нее, как у всего живого, переменчивое лицо («*krasna vubec nikdy, vazne ne, snad nekdy hezka*»).[37] Если б я отвечал тебе в ночь с понедельника на вторник, это было бы ужасно, я лежал в кровати как под пыткой, всю ночь я отвечал тебе, жаловался тебе, придумывал, как тебя отпугнуть от себя, проклинал себя. (Это все ещё потому, что твое письмо пришло поздно вечером, а перед наступлением ночи я был особенно возбужден и восприимчив к серьезным речам.) Рано утром я поехал в Боцен, оттуда электричкой до Клобенштайна и там, на высоте 1200 м, дышал – правда, так и не придя в себя, – чистым, почти ледяным воздухом вблизи первых отрогов доломитовых скал, а потом, на обратном пути, написал тебе следующее (сейчас я это переписываю, но даже и эти рассуждения нахожу – по крайней мере сегодня – слишком резкими; так меняются дни!).

Наконец-то я один, возвращаюсь в Меран, инженер остался в Боцене. Я отнюдь не сильно страдал оттого, что инженер и пейзажи встряли между мной и тобой, потому что я и сам был не в себе. Вчера до половины первой ночи я был с тобой – писал тебе и ещё больше думал о тебе, – потом до шести утра проворочался в постели со своей бессонницей, потом все-таки встряхнулся и вытряхнулся, как вытряхивает чужой человек другого чужого человека из постели, и это было хорошо, потому что, останься я в Меране, день бы все равно был пропащий, – я бы только клевал носом да писал. Не важно, что эту прогулку я, собственно говоря, не совсем даже осознал и она останется в моей памяти лишь как не очень внятный сон. А ночь была такой мучительной оттого, что ты своим письмом (у тебя пронзительный взгляд, это было бы ещё ничего, на улицах полно людей, и они отвлекут взгляд на себя, но вот бесстрашие этого взгляда и особенно то, что у тебя есть силы заглянуть ещё дальше него, – вот что главное, и ты это знаешь) – своим письмом ты вновь пробудила моих старых знакомцев, всех тех дьяволов, что одним глазом спят, а другим настойственно выжидают своего часа; это, конечно, ужасно, сразу пот прошибает от страха (но страха этот, клянусь тебе, ни перед чем другим, лишь пред ними, пред непостижимыми силами), но это и хорошо, это только здоровью на пользу: принимаешь их парад и знаешь, что они есть. Но все-таки ты не совсем верно толкуешь мои слова: «Уезжай из Вены!» Я не так уж бездумно их написал, и никаких осязаемых затруднений я не боялся (хоть зарабатываю я немного, но, думаю, на нас двоих вполне бы хватило, – конечно, если не припугается болезнь), а потом, я совершенно искренен и в мыслях своих, и в их выражении (я и раньше был таким, но одна ты это смогла увидеть, и твой взгляд мне такая подмога!), чего я страшусь – страшусь с раскрытыми от ужаса глазами, в обморочном беспомыслии страха (если б я мог спать так глубоко, как погружаюсь в страх, я бы уже не жил), – чего я страшусь, так это тайного сговора против меня (ты его лучше поймешь, прочтя мое письмо к отцу, но все равно не совсем поймешь, потому что письмо слишком целенаправленно выстроено) – сговора, основанного примерно на том, что я – я, на грандиозной шахматной доске всего лишь пешка пешки, да и того меньше, – вдруг вопреки твердым правилам игры, всю ее путая, собираюсь занять

место королевы, – я, пешка пешки, фигура, стало быть, попросту не существующая, не участвующая в игре, – а то и глядишь, еще и место самого короля, а то и всю доску! – и что, пожелаю я этого на самом деле, все должно совершиться совсем иным, много более бесчеловечным образом.

Потому то, что я тебе предлагаю, для меня имеет гораздо большее значение, чем для тебя. В настоящую минуту это самое несомненное, не тронутое ни малейшим налетом болезненности, – то, что дарит безусловное счастье.

Так было вчера, сегодня же я, например, мог бы сказать, что наверняка приеду в Вену, но, поскольку сегодня – это сегодня, а завтра – это завтра, я оставляю для себя свободу действий. Врасплох я тебя ни в коем случае не застаю и сразу после четверга тоже не появлюсь. Если я поеду в Вену, то предупрежу тебя по пневматической почте (никого, кроме тебя, я не смог бы видеть, это уж точно) – но раньше вторника этого наверняка не случится. Я бы приехал на Южный вокзал – с какого буду уезжать, еще не знаю, так что и в гостинице остановлюсь у Южного вокзала; жаль, что я не знаю, где ты в том квартале даешь уроки, тогда я мог бы ожидать там тебя часов в пять. (По-моему, эту фразу я уже читал в одной сказке – где-то поблизости от другой фразы: «А если они не умерли, то и сейчас еще живут-поживают».) Изучал сегодня план Вены, на секунду мне представилось непостижимым, для чего возвели такой огромный город, – ведь тебе всего-то и нужна одна комната.

Ф.

Задним числом читаю замечание по поводу еды, с этим у меня тогда наверняка бы тоже наладилось, коль скоро я стал бы такой важной персоной. Читаю эти два письма, как воробей клевал у меня в комнате хлебные крошки, дрожа, прислушиваясь, настороженно озираясь, встопорщив все перья.

Меран, 24 июня, Четверг

Когда не выспишься, бываешь куда шустрее, чем когда высыпаешься, вчера я немножко выспался и сразу же понаписал всяких глупостей насчет поездки в Вену. В конце концов, эта поездка не пустяк, чтобы ее вышучивать. Я никоим образом не намерен преподносить тебе сюрпризы, при одной мысли об этом меня бросает в дрожь. Я ведь вовсе не явлюсь к тебе на квартиру. Если в четверг ты не получишь письма по пневматической почте, значит, я поехал в Прагу. Кстати, как говорят, я приехал бы таки на Западный вокзал, – вчера я, кажется, написал про Южный, – ну, да это все равно. И я не слишком уж сильно престаю средним предел непрактичности, нетранспортабельности, небрежности (при условии, что немного посплю), можешь по этому поводу не беспокоиться, если я сяду в вагон, идущий в Вену, то и выйду скорей всего в Вене, самые большие сложности сопряжены с посадкой. Итак, до свидания (не обязательно в Вене, можно и в письмах).

Ф.

Что до «Милены», то германство и еврейство здесь совершенно ни при чем. Лучше всех по-чешски разумеют (не говоря, конечно, о чешских евреях) господа из «Наше ржеч», во втором месте – читатели этого журнала, на третьем – подписчики, а я подписчик... И как таковой говорю тебе, что в «Милене» чешского только и есть что уменьшительная форма: «миленка». Нравится тебе это или нет, но так утверждает филология.[38]

Если приеду в Вену, телеграфирую или напишу тебе, стало быть, на почтамт. Во вторник или в среду. Разумеется, все письма были оплачены, неужто по конверту не видно, что марки сорвали?

Меран, 25 июня, Пятница, вечером

Написал сегодня утром всякие глупости, и вот пришли оба твоих письма, такие переполненные, такие милые. Отвечу я на них устно: во вторник, если не случится ничего неожиданного во мне или вовне, я буду в Вене. Было бы, конечно, весьма разумно, если б я (на вторник, по-моему, приходится праздник, и возможно, что почта, с которой я собираюсь тебе в Вене телеграфировать или послать письмо, будет закрыта) уже сегодня тебе сказал, где я буду ждать тебя, но я бы до того времени попросту задохнулся, если б сейчас назвал тебе какое-то место и потом в течение трех дней видел его перед собой – пустующим и ждущим того момента, когда я во вторник в такой-то и такой-то час туда приду. О Милена, есть ли вообще в мире столько терпения, сколько надобно на такого, как я? Скажешь мне об этом во вторник.

Ф.

Вена, 29 июня, Вторник, 10 часов утра

До 12 часов это письмо, видимо, не придет, наверняка даже не придет, сейчас уже 10. Тогда все откладывается на завтра; может быть, это и хорошо, потому что хоть я и в Вене, сижу в кафе у Южного вокзала (что тут за какао, что за печенье, и этим ты живешь?), но я еще как бы не совсем здесь, две ночи подряд не спал, впрочем, неизвестно, засну ли и в третью, в этой гостинице «Рива» у Южного вокзала, рядом с гаражом. В общем, ничего лучшего не могу придумать, кроме вот этого: ожидаю тебя в среду перед гостиницей, начиная с десяти утра. Прошу тебя, Милена, не пугай меня – не появляйся неожиданно сбоку или сзади, и я тоже не буду.

Сегодня, может быть, займусь осмотром достопримечательностей: Лерхенфельдерштрассе,[39] почта,[40] по окружному поясу от Южного вокзала до Лерхенфельдерштрассе, лавка торговли углем и пр., – постараюсь бродить по возможности незаметно.

Твой

Прага, 4 июля, Воскресенье[41]

Сегодня, Милена, Милена, Милена – ничего другого писать сегодня не могу! Нет, все-таки. Итак, сегодня, Милена, пишу лишь в спешке, усталости и неприсутствии (последнее, впрочем, наверняка сохранится и завтра). Да и как не быть усталым? Больному был обещан

Отпуск на целых три месяца, а дали четыре дня, причем от вторника до воскресенья лишь обрывку, да к тому же отрезали от каждого дня вечер и утро. Разве я не прав, что не совсем выздоровел? Разве не прав? Милена! (Это тебе на ухо, на левое, а ты лежишь на бедной постели, спишь глубоким сном самого праведного происхождения и медленно, еще ничего не осознавая, поворачиваешься с правого бока на левый – к моим губам...)

Как я доехал? Сначала все было очень просто, на перроне не оказалось газет. Лишний повод выбежать на площадь, но тебя там уже не было – все как надо. Я зашел в купе, поезд тронулся, я раскрыл газету, начал читать – все как надо; через несколько минут отложил газету – и вдруг понял, что тебя уже нет со мной, вернее, ты была со мной, я это чувствовал всем своим существом, но теперь это твоё бытие-со-мной было совсем иным, чем в минувшие четыре дня, и я должен был ещё к этому привыкнуть. Начал опять читать, но дневник Бара,[42] начинался описанием курорта Кройцена у Грайна на Дунае. Я отложил газету, но, когда выглянул в окно, мимо как раз проезжал поезд, и на вагоне была надпись: Грайн. Я отвел взгляд и стал смотреть перед собой. Господин напротив читал «Народни листы» от прошлого воскресенья, там я увидел фельетон Ружены Есенской[43] попросил почитать; начинаю читать – толку никакого, снова бросаю – и вот сижу, а прямо передо мной твоё лицо, каким оно было при прощании на перроне. То было явление природы, какого я ещё никогда не видел: солнечный свет, меркнувший не от туч, а изнутри.

Ну что мне ещё сказать? Горло отказывает, рука отказывает.

Твой

Завтра продолжу описание этого удивительного путешествия.

Воскресенье, чуть позже

Посыльный передаст тебе вложенное письмо[44] (пожалуйста, порви его и письмо Макса[45] тоже), на него требовался немедленный ответ, я написал, что буду у нее в 9 утра. Что я должен сказать, совершенно ясно, как я это скажу – не знаю. Благие небеса, только представить себе: я женат, возвращаюсь домой и нахожу не посыльного, а постель, чтобы зарыться в нее, наглухо укрыться от всех – без всякого подземного хода в Вену! Я это говорю себе, чтобы осознать самому, как легка та тягостная миссия, что мне предстоит.

Твой

Я посылаю тебе её письмо, будто надеюсь добиться, чтобы ты была совсем рядом со мной, когда я буду ходить взад и вперед перед её домом.

Воскресенье, 11.30

3) Нумерую по крайней мере эти письма, чтобы ни одно не прошло мимо тебя, так же как я не должен пройти мимо тебя в маленьком парке.

Результата никакого, хотя ведь все ясно, и так же ясно мною было все сказано. Подробности пересказывать не буду – разве только то, что она не сказала ни о тебе, ни обо мне ни одного хоть сколько-нибудь худого слова. От сплошной ясности я даже не почувствовал никакого сострадания. Я мог лишь сказать – и это совершеннейшая истина, – что в наших с нею отношениях ничего не изменилось и едва ли когда-либо изменится, вот только – нет, не могу больше, это отвратительно, это ремесло палача, не мое ремесло. Лишь одно, Милена: если она тяжело заболит (выглядит она очень плохо, отчаяние её безмерно, завтра после обеда я к ней опять пойду) – в общем, если она заболит или ещё что-то с ней случится, я уже буду над этим не властен, я ведь могу только снова и снова говорить правду, а эта правда не просто правда, а нечто большее, я весь поглощен тобой, когда иду с ней рядом, – если, стало быть, что-то случится, тогда приезжай, Милена!

Ф.

Я написал глупость, не можешь ты приехать – по той же самой причине.

Завтра pošлю тебе на домашний адрес своё письмо к отцу, пожалуйста, сохрани его – вдруг я его однажды все-таки отдам ему. Постарайся, чтоб оно никому не попало на глаза. А когда сама будешь читать его, постарайся понять все адвокатские заковыки – это ведь адвокатское письмо. И не забывай при этом о твоём столь весомом «и все-таки!».

Понедельник, утром

Посылаю тебе сегодня «Бедного шпильмана» [46] – не потому, что он имеет для меня большое значение, он имел его однажды, много лет назад. Я посылаю его потому, что его автор такой венский и такой немзыкальный, просто хоть плачь, – и ещё потому, что он смотрел на нас сверху в Народном саду[47] (на нас! ты шла рядом со мной, Милена, подумай, ты шла рядом со мной!), и потому, что он такой насквозь бюрократический, и потому, что он любил деловую девушку.

5 июля, Понедельник, утром

4) Сегодня пришло твоё письмо, написанное в пятницу, а позже – ночное письмо того же дня. Первое такое печальное, с печальным перронным лицом, печальное не из-за своего содержания, а потому что оно устарело, потому что все уже в прошлом: наш общий лес, наши общие предместья, наша общая дорога. А она ведь не кончается, не уходит в небытие, эта прямая, как стрела, общая дорога, вверх по каменистому переулку, назад по аллее к вечернему солнцу, она не кончится, и все же это глупая шутка – говорить, что она не кончится. Вокруг, куда ни глянь, бумаги и документы, несколько писем, я их только что прочел, рукопожатия у директора (я не уволен) и ещё в двух-трех комнатах, и ко всему этому в ушах звенит маленький колокольчик: «Она уже не с тобой!»; правда, есть ещё где-то в небесах исполинский колокол, и он звонит: «Она не оставит тебя» – но маленький-то колокольчик совсем близко, в ушах! А потом это ночное письмо – непостижимо, как его можно читать, непостижимо, как может в достаточной мере расширяться и сжиматься грудь, дыша

этим воздухом, непостижимо, как можно быть вдали от тебя.

И однако, я не жалуясь, это все не жалоба, и ты мне дала слово.

Теперь история поездки, и попробуй только потом сказать, что ты не ангел: с давних пор я знал, что моя австрийская виза, собственно (и не собственно) говоря, истекла два месяца назад, но в Меране меня заверили, что для транзита она вовсе не нужна, и в самом деле при теперешнем въезде в Австрию мне никто не пенял. Вот почему я и в Вене начисто забыл об этом упущении. Однако во время паспортного контроля в Гмюнде чиновник – молодой, суровый человек – тотчас эту ошибку обнаружил. Паспорт отложили в сторону, всех пропустили дальше на таможенный контроль, а меня нет, уже одно это было достаточно скверно (мне все время чинят препятствия, ведь всего-то навсего первый день, я еще не обязан выслушивать казенную болтовню, а постоянно кто-нибудь является и норовит прогнать меня от тебя, то бишь тебя от меня, но это им не удастся, Милена, правда? – никому и никогда). Вот как, значит, все обстояло, но тут уж взялась за дело ты. Приходит пограничник – приветливый, открытый, австрийский, участливый, сердечный – и по лестницам и коридорам ведет меня в пограничную инспекцию. Там, с похожей ошибкой в паспорте, уже стоит румынская еврейка, странным образом тоже твоя дружеская посланница, еврейский ты ангел. Но враждебные силы пока намного мощнее. Высоченный инспектор и его коротышка помощник, оба желтые, сухопарые, ожесточенные, по крайней мере сейчас, забирают паспорт в свои руки. Инспектор тотчас безапелляционно объявляет: «Возвращайтесь в Вену и получите в полиции надлежащую отметку!» Я только и способен несколько раз повторить: «Для меня это ужасно». Инспектор отвечает, тоже несколько раз, иронически и злобно: «Вам только так кажется». – «А нельзя ли получить эту отметку по телеграфу?» – «Нет». – «Я оплачу все расходы». – «Нет». – «Есть ли у вас здесь вышестоящая инстанция?» – «Нет». Женщина, которая видит мои мучения и сохраняет поразительное спокойствие, просит инспектора пропустить хотя бы меня одного. Слишком слабые средства, Милена! Этак ты с ними не сладишь. Хочешь не хочешь, надо проделать долгий обратный путь к паспортному контролю и забрать багаж, уехать сегодня, стало быть, нет решительно никакой надежды. И вот мы сидим в комнате пограничной инспекции, полицейскому тоже нечем нас особенно утешить, разве только тем, что можно продлить билеты и пр., инспектор сказал свое последнее слово и удалился в кабинет, лишь коротышка помощник еще здесь. Я подсчитываю: следующий поезд в Вену отходит в 10 вечера, прибывает в Вену в 2.30 ночи. У меня еще не прошли укусы «ривских» клопов, каков-то будет мой номер у вокзала Франца Иосифа? Но я ведь вообще номера не получу и тогда поеду напрямик на Лерхенфельдерштрассе (да, в половине-то третьего!) и попрошу пристанища там (н-да, в 5 утра). Но что бы там ни было, утром в понедельник я непременно должен получить отметку в паспорте (но получу ли я ее сразу, а не во вторник?), а после отправиться к тебе, устроить тебе сюрприз в дверях, которые ты откроешь. Силы небесные. Тут мысли делают перерыв, потом бегут дальше: но в каком же состоянии я буду после этой ночи и езды, а вечером мне опять уезжать шестичасовым поездом, в каком виде я доберусь до Праги и что скажу директору, которого опять придется телеграфом просить о продлении отпуска? Все это тебе, разумеется, ни к чему, но что же делать? Другого выхода нет. Единственным небольшим облегчением было бы, вдруг приходит мне в голову, переночевать в Гмюнде и выехать в Вену утром, и я, уже совершенно устало, спрашиваю коротышку помощника насчет утреннего поезда в Вену. Отходит в 5.30 и прибывает в 11 утра. Ладно, стало быть, я поеду на нем, и румынка тоже. И тут разговор внезапно принимает совершенно новый оборот, не знаю, каким образом, – неожиданно выясняется, что коротышка помощник хочет нам пособить. Если мы переночуем в Гмюнде, то рано утром, когда в конторе никого, кроме него, нет, он тайком пропустит нас в Прагу пассажирским поездом, тогда мы уже в 4 часа дня будем в Праге. Инспектору мы должны сказать, что отправимся в Вену утренним поездом. Чудесно! Впрочем, чудесно лишь относительно, потому что телеграфировать в Прагу все равно придется. Тем не менее. Приходит инспектор, мы разыгрываем маленькую комедию про утренний венский поезд, потом помощник отсылает нас прочь, вечером мы тайно встретимся с ним для обсуждения дальнейшего. В слепоте своей я думаю, что это все идет от тебя, тогда как на самом деле это лишь последний удар враждебных сил. Итак, мы, та женщина и я, медленно выходим из вокзала (скорый поезд, который должен был увезти нас отсюда, все еще стоит у платформы, проверка багажа тянется долго). Далеко ли до города? Час. Новая незадача. Но оказывается, что и у вокзала есть две гостиницы, в одну из них мы и направимся. Перед гостиницами проходит железнодорожная ветка, надо перейти через рельсы, но по ветке как раз приближается товарный состав; я хочу перебежать – наверняка успею, но спутница меня удерживает, а товарняк прямо перед нами останавливается, и приходится ждать. Небольшая добавка к нашим бедам, думаем мы. Но именно это ожидание, притом что в Прагу я в воскресенье уже не попаду, оказывается поворотным пунктом. Словно ты, точно так же, как обегала все гостиницы возле Западного вокзала, теперь обегала все небесные врата, чтобы просить за меня, – от вокзала, а это довольно далеко, к нам, запыхавшись, спешит твой полицейский и кричит: «Идите скорее обратно, инспектор вас пропускает!» Возможно ли? В такую минуту просто перехватывает горло. Раз десять мы упрашиваем полицейского, прежде чем он берет от нас деньги. А теперь скорее обратно, забрать в инспекции багаж, бегом к паспортному контролю, потом на таможенку. Но ты уже все уладила, у меня нет сил тащить багаж – и тотчас рядом ненароком случился носильщик, у паспортного контроля попадаю в толчею – полицейский расчищает мне дорогу, при проверке багажа, сам того не заметив, теряю футляр с золотыми запонками – чиновник находит его и отдает мне. Мы садимся в поезд и незамедлительно отъезжаем, наконец-то я могу утереть пот со лба и груди. Оставайся всегда со мной!

Ф.

Кажется, понедельник

5) Конечно, надо бы лечь спать, час ночи ведь, я бы давным-давно написал тебе еще вечером, но здесь был Макс, которому я все-таки очень обрадовался и навестить которого мне до сих пор мешали девушка и тревога за нее. До 8.30 я был с девушкой, в 9 пришел Макс, и до 12.30 мы с ним гуляли. Представь себе, я-то полагал, что в письмах сказал ему, как мне кажется, с предельной ясностью, что ты ты ты – писание опять несколько прерывается, – что именно ты и есть та, о ком я говорю, – а он ничего не понял и только теперь узнал имя (я, кстати, писал не грубо напрямик, ведь как-никак письма могла прочесть и жена). О девушке: сегодня было получше, но дорогой ценой – я разрешил ей написать тебе. И очень об этом сожалею. Знак моего страха за тебя – телеграмма, которую я нынче послал тебе на почтамт до востребования («Девушка пишет тебе ответ дружелюбно и... – тут я вообще-то хотел вставить „очень“, – строго и не покидай меня»). В целом сегодня все прошло спокойнее, я взял себя в руки и рассказывал о Меране мирно, настроение стало менее угрожающим. Но едва лишь речь опять зашла о главном – долгие минуты девушка рядом со мной на Карловой площади дрожала всем телом, – я только и мог сказать, что рядом с тобою все прочее, даже оставаясь само по себе неизменным, исчезает и превращается в ничто. Она задала свой последний вопрос, перед которым я всегда был беззащитен, а именно: «Я не могу уйти, но если ты меня отошлешь, то я уйду. Ты отсылаешь меня?» (Отвлекаясь от высокомерия, в том, что я это рассказываю, есть что-то глубоко отвратительное, но рассказываю я это из страха за тебя. Чего бы я только не сделал из страха за тебя.[48] Видишь, что за диковинный новый страх.) Я ответил: «Да». На это

она: «Но я не могу уйти». И тут она, сверх своих сил разговорчивая, милое доброе существо, начала рассказывать, что все это ей непонятно, что ты любишь твоего мужа, а тайком говоришь со мной и т. п. Сказать по правде, тут проскользнули и недобрые слова о тебе, за которые я хотел и должен был ее побить, но разве же я не должен был дать ей выплакаться, по крайней мере в этом? Она упомянула, что хочет написать тебе, и я в тревоге о ней и в бесконечном доверии к тебе позволил ей это сделать, хотя и знал, что мне это будет стоить нескольких ночей. Как раз то, что позволение успокоило ее, беспокоит меня. Будь дружелюбной и строгой, но больше строгой, чем дружелюбной, но что я говорю, разве же я не знаю, что ты напишешь все правильно, как надо. И разве мой страх, что она в своей беде напишет что-нибудь коварное и тем восстановит тебя против меня, не является для тебя глубоко унижительным? Он унижителен, но что мне делать, если вместо сердца в груди бьется этот страх? Все-таки напрасно я дал ей разрешение. Ну что ж, завтра я снова увижусь с нею, завтра праздник (Гус[49]), она очень просила меня о послеобеденной прогулке, после-то, до конца недели, сказала она, мне приходиться не нужно. Может быть, я еще сумею отговорить ее писать письмо, если она уже его не написала. Хотя, сказал я себе потом, может быть, она и вправду желает только объяснения, может быть, твое слово как раз и успокоит ее своей дружелюбной строгостью, а может быть, – так бегут теперь все мои мысли – она упадет перед твоим письмом на колени.

Франц

Еще одна причина, по которой я разрешил ей написать. Она хотела увидеть твои письма ко мне. Но показать их я не могу.

6 июля, Вторник, утром

6) Небольшой удар для меня: телеграмма из Парижа, с сообщением, что завтра вечером приезжает старый дядюшка, которого я, кстати сказать, вообще-то очень люблю, а живет он в Мадриде и уже много лет здесь не бывал. Удар потому, что это отнимет у меня время, мне же все время и даже в тысячу раз больше, чем все время, а еще лучше – все-все время, какое только есть, необходимо для тебя, для размышлений о тебе, для дыхания в тебе. И здешняя квартира станет беспокойна, и вечера беспокойны, я бы хотел быть где-нибудь в другом месте. Многого хотелось бы сделать по-другому, и бюро мне совсем ни к чему, но затем я опять решил, что вполне заслуживаю ударов по лицу, когда высказываю желания, превышающие эту реальность, эту принадлежащую тебе реальность.

Почему-то не могу больше ничего тебе написать помимо того, что касается только нас, нас двоих в толчее мира. Все чуждое чуждо. Несправедливость! Несправедливость! Но губы лепечут, а лицо уткнулось тебе в колени.

После Вены осталась горечь, можно я это скажу? Там, в лесу, на второй день, по-моему, ты сказала что-то вроде: «Борьба с прихожей долго продолжаться не может». А в предпоследнем меранском письме пишешь о болезни. Как мне найти выход между двумя этими вещами? Я говорю это не из ревности, Милена, я не ревную. Либо мир так мал, либо мы так огромны, во всяком случае мы заполняем его целиком. К кому мне ревновать?

Вторник, вечером

7) Видишь, Милена, теперь я посылаю тебе даже это письмо, вовсе не зная, что в нем написано. Вышло так: я обещал ей сегодня в 3.30 быть возле ее дома. Собирались прокатиться на пароходе; но вчера я лег очень поздно и почти не спал, поэтому с утра пневматической почтой отправил ей записку: после обеда мне необходимо поспать, поэтому приду только в 6. От беспокойства, которое при всех письменных и телеграфных гарантиях никак не желало униматься, я добавил: «Письмо в Вену отошли только после того, как мы его обсудим». Она же в полубеспамятстве написала это письмо еще рано утром – хотя даже не может сказать, что именно написала, – и сразу бросила в ящик. Получив мою пневматическую депешу, бедняжка в страхе бежит на почтамт, умудряется где-то разыскать письмо, на радостях отдает служащему все свои деньги, причем только задним числом пугается размера суммы, и вечером приносит письмо мне. Что мне теперь делать? Ведь моя надежда на скорое, окончательное, благополучное разрешение основана на этом письме и на воздействии твоего ответа, и признаться, это надежда бессмысленная, но другой у меня нет. Если я открою письмо и заранее прочитаю, я, во-первых, обижу ее, а во-вторых, наверняка не смогу его тогда отослать. Вот и шлю его тебе заклеенным, отдаю в твои руки целиком и полностью, как уже отдал в эти руки себя.

В Праге слегка пасмурно, письма пока нет, на сердце тяжеловато, и хотя совершенно невозможно, чтобы уже пришло какое-нибудь письмо, сердцу этого не объяснишь.

Ф.

Вторник, еще позднее

8) Едва бросил это письмо в почтовый ящик – и сразу подумал: как же я мог потребовать от тебя такое. Не говоря о том, что принять здесь правильное и необходимое решение – все же только мое дело, для тебя, верно, совершенно невозможно довериться чужому человеку и написать ему такое ответное письмо. Ну что ж, Милена, прости мне эти письма и телеграммы, отнеси их за счет моего рассудка, ослабленного прощением с тобою; ничего страшного, если ты ей не ответишь, ведь непременно найдется какое-нибудь другое решение. Не тревожься из-за этого. Я просто донельзя устал от этих прогулок, сегодня на Вышеград, вот в чем дело. К тому же завтра приезжает дядя, и я редко буду один.

Поговорим о более приятном: известно ли тебе, когда ты в Вене была одета красивее всего, ну просто немислимо красиво? Тут даже и спорить нечего – в воскресенье.

7 июля, Среда, вечер

9) Пищу впопыхах, лишь несколько слов в честь моего новоселья, – впопыхах, потому что в 10 часов прибывают родители из Франценсбада, в 12 часов – дядя из Парижа, и все хотят, чтоб я их встретил; новоселья – потому что я, освобождая дяде место, переехал в пустую квартиру сестры, которая сейчас в Мариенбаде. Пустая большая квартира, это прекрасно; правда, улица более шумная, но в целом обмен отнюдь не плохой. А написать я тебе должен был непременно, потому что из моих последних жалобных писем

самое ужасное у сегодняшнего утра стыда порвал; подумай: у меня еще нет никаких известий от тебя, но жаловаться по почте глупо, что мне почта) ты могла заключить, что я в тебе не уверен, что я боюсь тебя потерять; нет, ничего подобного. Разве смогла бы ты стать для меня тем, что ты есть, если б я был в тебе не уверен? Такое впечатление создается оттого, что мне дано было пережить краткую телесную близость и потом внезапную телесную разлуку (почему именно в воскресенье? почему именно в 7 утра? почему вообще?), – от всего этого, конечно, голова может пойти кругом. Прости! А теперь, на сон грядущий, на спокойную ночь, прими единым потоком всего меня и все мое – все, что радо покоиться в тебе.

Ф.

8 июля, Четверг, утро

10) Улица шумная, к тому же наискосок что-то строят, перед окном не русская церковь,[50] а жилища, набитые людьми, – и все-таки: быть одному в комнате – это, наверное, условие жизни, быть одному в квартире – условие (если говорить совсем точно: временное) счастья (и – одно из условий, ибо что проку было бы в квартире, если б я не жил, если б у меня не было родины, дарующей мне успокоение, – к примеру, пары ясных и синих, непостижимой милостью вышней зажженных глаз); стало быть, квартира эта – одна из составляющих счастья, все так тихо, душевая, кухня, прихожая, три остальные комнаты, не то что эти общие квартиры с их гвалтом, с их содомом, с кровосмесительным разгулом давно уже неуправляемых, разнужданных мыслей, желаний и тел, когда во всех закоулках, между всеми кроватями и шкафами плодятся недозволенные связи, несообразные, случайные вещи, незаконные дети, – где неизменно все происходит не как в троих тихих пустынных предместьях в воскресный день, а как в оглушительно-суматошных многолюдных предместьях в непрерывный субботний вечер.

Пришла сестра – проделала долгий путь, чтобы принести мне завтрак (в чем решительно не было нужды, я сам собирался домой), да еще и несколько минут звонила в дверь, пока я не пробудился от этого письма и от своего отрешения.

Ф.

Но квартира мне не принадлежит, сестрин муж тоже намеревается часто наезжать сюда летом.

Четверг, утро

11) Наконец-то твое письмо. Сейчас только быстро несколько слов о самом главном, пусть даже спешка внесет превратности, о которых я после буду сожалеть: этот случай – беспримерный во взаимоотношениях нас троих, потому и не стоит замутнять его опытом других случаев (трупы – муки втроем, вдвоем – каким-то образом исчезают). Я ему[51] не друг и друга не предавал, но я и не просто его знакомый, а очень связан с ним, и кое в чем, наверное, больше чем друг. Ты его тоже не предавала, потому что любишь его, что бы ты ни говорила, и если мы соединимся (спасибо вам, плечи!), то на ином уровне, не в его сфере. В итоге это вправду не только наше с тобой дело, которое надлежит держать в тайне, и не только мука, страх, боль, забота – твое письмо резко спугнуло мое относительное спокойствие, которое шло от нашего общения и теперь, наверное, опять угодит в меранский вихрь, хотя на пути возврата к меранским обстоятельствам существуют мощные преграды, – а открытое, ясное в своей открытости дело троих, даже если ты еще некоторое время будешь молчать. Я тоже очень против обдумывания возможностей, против, потому что у меня есть ты, будь я один, ничто не удержало бы меня от обдумывания... уже в настоящем делаешь себя ареной грядущих сражений, и как же тогда разрытая почва выдержит дом грядущего?

Я теперь вообще ничего не понимаю, третий день сижу в бюро и еще ни строчки не написал, может быть, теперь получится. Кстати, пока я писал это письмо, сюда заходил Макс, он, разумеется, будет молчать; для всех, кроме сестры, родителей, девушки и его, я приехал через Линц.

Ф.

Можно послать тебе деньги? Например, через Л., я скажу ему, что ты в Вене одолжила мне деньги, и он вышлет их тебе вместе с твоим редакционным гонораром?[52]

9 июля, Пятница

12) Всякая писанина кажется мне никчемной, да она такая и есть. Лучше всего было бы поехать в Вену и забрать тебя с собой; может быть, я так и сделаю, хотя ты этого не хочешь. В самом деле, есть лишь две возможности, одна лучше другой, – или ты приедешь в Прагу, или в Либешице. С давней, типично еврейской подозрительностью я вчера подкрался к Й., поймал его перед самым отъездом в Либешице, у него было твое письмо Стасе. Замечательный человек, веселый, открытый, умный, берет тебя под руку и сразу принимается болтать, готов ко всему, понимает все и даже больше. Он с женой намеревался поехать под Брюнн к Флориану,[53] а оттуда – к тебе в Вену. Нынче во второй половине дня он возвращается в Прагу, привезет ответ от Стаси, я встречу с ним в 3, потом телеграфирую тебе. Прости болтливость этих одиннадцати писем, отбрось их в – сторону, пришло время реальности, она больше и лучше. Опасаться сейчас, по-моему, нужно только одного – твоей любви к мужу. Что же до нового задания, о котором ты пишешь, то оно, конечно, трудное, но не стоит недооценивать силы, какие придает мне твоя близость. Я, правда, пока не сплю, но держусь куда спокойнее, чем думал вчера из-за двух твоих писем (случайно свидетелем тому оказался Макс, что было не вполне хорошо, ведь это как-никак сугубо мое дело, ах, вот уже и начинается ревность неровнивого, бедная Милена). Твоя сегодняшняя телеграмма тоже несколько успокаивает. Тревога о твоём муже сейчас, по крайней мере сейчас, не слишком велика, вполне терпима. Он взял на себя невероятно трудную задачу и, по сути дела, отчасти, а может быть, и целиком с честью ее выполнит; нести ее дальше он, по-моему, не способен, и не потому, что у него не хватит на это сил (что такое мои силы в сравнении с его?), а потому, что он чересчур подавлен тем, что произошло до сих пор, чересчур угнетен, лишен сосредоточенности, необходимой для этого. Может быть, рядом с другим ему все же будет полегче. Почему мне не написать ему?

Ф.

Пятница

13) Только несколько слов по поводу Стасина письма – дядя, человек очень милый, теперь немножко мешает, ждет меня. Так вот, Стасино письмо очень дружелюбное и сердечное, но есть у него один недостаток, маленький, быть может чисто формальный, недостаток (притом я отнюдь не утверждаю, что письма без этого недостатка более сердечны, скорее даже наоборот), так или иначе, ему то ли чего-то недостает, то ли, напротив, чего-то там в избытке, может быть рассудительности, которая, кстати, идет как будто бы от мужа, ведь именно так он вчера говорил со мной. Каким тоном я говорю об этих поистине добрых людях? Ревность, это в самом деле ревность, но я обещаю тебе, Милена, никогда тебя ею не терзать, только себя, только себя. Хотя одно недоразумение в этом письме, по-моему, все же присутствует, ты ведь вправду не хотела от Стаси ни совета, ни разговора с твоим мужем. Ты просто хотела того, что ничем не заменишь, – ее присутствия. Так мне показалось.

Надеюсь еще сегодня получить от тебя весточку. Между прочим, я прямо-таки капиталист, который знать не знает, что у него есть. Нынче после обеда, когда я в бюро тщетно спрашивал об известиях, мне принесли твое письмо, которое пришло вскоре после моего отъезда в Меран, читать было так странно.

Твой

10 июля, Суббота

14) Дело плохо, позавчера пришли те два несчастных письма, вчера только телеграмма (успокаивающая, конечно, но все же, по-моему, и немного обрывочная, как всякая телеграмма), сегодня же – вообще ничего. А те письма были для меня не очень-то утешительны, во всех отношениях, и там говорилось, что ты сразу напишешь снова, а ты не написала. Позавчера вечером я послал тебе срочную телеграмму с просьбой срочно ответить, и ответ должен был бы давно прийти. Повторяю текст: «Это было единственно правильное, будь спокойна, здесь ты дома, Й. с женой приедет в Вену, вероятно, через неделю. Как переправить тебе деньги?» Ответа я, стало быть, не получил. «Езжай в Вену, – говорю я себе. – Но ведь Милена этого не хочет, решительно не хочет. Ты был бы решением, и она тебя не хочет, она в тревоге и сомнениях, поэтому ей нужна Стася». И все-таки мне следовало бы поехать, но я нездоров. Правда, я спокоен, относительно спокоен, хотя в последние годы даже не надеялся на такое, но днем я сильно кашляю, да и ночью по четверть часа. Вероятно, это просто привыкание к Праге и последствие неистового меранского времени, прежде чем я узнал тебя и заглянул в твои глаза.

Какой темной стала Вена, а ведь четыре дня кряду была такой светлой. Что там готовится для меня, пока я сижу здесь, откладывая перо и закрываю лицо рукой.

Ф.

Потом я из своего кресла посмотрел в открытое окно на дождь, и мне пришли на ум разные возможности: что ты, наверное, больна, устала, лежишь в постели, что г-жа К. могла бы поспособствовать и тогда – странным образом эта возможность самая естественная, самая натуральная – отворится дверь, и на пороге явишься ты.

11 июля, Понедельник

15) По меньшей мере два ужасных дня. Но теперь я вижу, ты совершенно не виновата, какой-то злобный чертенок задержал все твои письма от четверга. В пятницу я получил только твою телеграмму, в субботу ничего, в воскресенье ничего, сегодня четыре письма, от четверга, пятницы, субботы. Я слишком устал, чтобы по-настоящему взяться за перо, слишком устал, чтобы из этих четырех писем, из этой горы отчаяния, муки, любви, ответной любви сразу же уяснить, что остается для меня, таким эгоистом становишься, когда устал и двое суток терзал себя жутчайшими представлениями. Но тем не менее – опять-таки благодаря твоей жизнотворной силе, мать Милена, – тем не менее я в общем-то, наверное, расстроен меньше, чем за все семь последних лет, исключая год в деревне.

Почему до сих пор нет ответа на мою срочную телеграмму, отправленную вечером в четверг, я, впрочем, по-прежнему не понимаю. После я телеграфировал г-же К., ответа тоже нет. Не бойся, твоему мужу я писать не стану, не очень-то мне этого и хочется. Хочется мне только поехать в Вену, но я и этого не сделаю, даже если бы не было таких препятствий, как твое отрицательное отношение к моему приезду, сложности с паспортом, бюро, кашель, усталость, свадьба моей сестры (в четверг). И все-таки лучше бы поехать, чем сидеть вечерами вот так, как было в субботу или в воскресенье. В субботу: я гулял по городу, немножко с дядей, немножко с Максом, и каждые два часа заходил в бюро, справиться насчет почты. Вечером было получше, я пошел к Л., никаких дурных вестей о тебе он не имел, упомянул твое письмо, которое меня осчастливило, связался по телефону с К. из «Нойе фрайе прессе», тот тоже ничего не знал, однако расспросить твоего мужа о тебе и сегодня вечером перезвонить отказался. Так я сидел у Л., то и дело слышал твое имя и был ему благодарен. Правда, разговаривать с ним нелегко и неприятно. Он ведь как ребенок, не очень-то смысленный ребенок, точно так же хвастается, жлет, ломает комедию, и, когда этак спокойно сидишь там и слушаешь его, кажешься сам себе непомерно хитрым и мерзким комедиантом. В особенности потому, что он не только ребенок, но по доброте, участию, готовности помочь – большой и очень серьезный взрослый. Выбраться из этой двойственности невозможно, и если б я не твердил себе все время: «Еще раз, еще только раз я хочу услышать твое имя», то давным-давно бы ушел. Он и о своей свадьбе (вторник) рассказывал точно так же.

В воскресенье было хуже. Вообще-то я собирался пойти на кладбище, и это правильно, но все утро пролежал в постели, а после обеда предстоял визит к свекру и свекрови моей сестры, у которых я еще не бывал. А там уже и шесть пробило. Обратил в бюро, спросить о телеграмме. Ничего. Что теперь? Просмотреть театральную афишу, потому что Й. второпях бегло упомянул, что в понедельник Стася идет в оперу слушать Вагнера. И вот я читаю, что спектакль начинается в 6 часов, а в 6 у нас назначена встреча. Скверно. Что теперь? Пойти на Обстгассе, взглянуть на дом. Там тихо, никто не входит и не выходит, какое-то время жду у входа, потом на противоположной стороне, ничего, такие дома намного мудрее людей, которые на них глазают. А теперь? В Люцернский пассаж, где некогда была витрина «Добре дило».[54] Сейчас-то уже нет. Потом, может быть, к Стасе, что весьма легковыполнимо, поскольку ее теперь наверняка нет дома. Тихий красивый дом с маленьким садиком позади. На двери квартиры висячий замок, – стало быть, можно безнаказанно позвонить. Внизу короткий разговор с консьержкой, только затем, чтобы произнести «Либешиц» и «Й», для «Милены», увы, возможности не представилось. А теперь? Теперь самое глупое. Иду в кафе «Арк»,[55] где не появлялся уже много лет, ищу кого-нибудь, кто знает

тебя. К счастью, там никого не было, и я мог сразу уйти. Поменьше бы таких воскресений, Милена![56]

Ф.

13 июля, Вторник, полудни

17) Какая ты усталая в субботнем письме! Много чего я мог бы сказать на это письмо, но усталой ничего сегодня не буду говорить, я и сам устал – пожалуй, впервые после возвращения из Вены, – совершенно не выспался, голова раскалывается. Ничего тебе не скажу, просто усажу тебя в кресло (ты говоришь, что недостаточно была добра ко мне, но разве это не высшая доброта, и любовь, и почесть – позволить мне присесть там у тебя и самой сесть напротив и быть со мной), – итак, я усаживаю тебя в кресло – и теряюсь, и не знаю, как выразить словами, глазами, руками, бедным сердцем это счастье – счастье оттого, что ты со мной, что ты все-таки и моя тоже. И ведь люблю я при этом вовсе не тебя, а нечто больше – мое дарованное тобой бытие.

Об Л. сегодня ничего рассказывать не стану и о девушке тоже, все это кое-как пойдет своей дорогой; и как все это далеко.

Ф.

Все, что ты говоришь о «Бедном шпильмане», совершенно правильно. Если я сказал, что для меня он ничего не значит, то просто из осторожности, потому что не знал, как ты с ним справишься, а еще потому, что стыжусь этого рассказа, будто сам его написал; он в самом деле начинается фальшиво и страдает множеством погрешностей, смехотворностей, дилетантизмов, смертельным жеманством (в особенности это заметно, когда читаешь вслух, я мог бы показать тебе такие места); и в особенности сама манера музыкального исполнения – изобретение поистине жалкое и смешное, только на то и годится, чтобы побудить девушку швырять вдогонку этому повествованию все, что у нее есть, в величайшем гневе, который с нею разделит весь мир, и прежде всего я, до тех пор пока рассказ, не заслуживающий ничего лучшего, не погибнет в собственных обломках. В самом деле, для рассказа нет судьбы лучшей, как исчезнуть, и таким вот образом. Рассказчик, этот забавный психолог, вполне с этим согласится, ведь он, вероятно, и есть тот самый «бедный шпильман», который исполняет – до крайности немзыкально исполняет – эту историю, слишком щедро вознагражденный слезами из твоих глаз.

14 июля, Среда

Ты пишешь: «Ано mas pravdu, mam ho rada. Ale F., i Tebe mam rada».[57] Я читаю эту фразу очень внимательно, слово за словом, особенно на «и» задерживаюсь, все верно, ты не была бы Миленой, если б было неверно (а чем был бы я, если б не было тебя?), – и лучше даже, что ты пишешь это в Вене, чем если б ты сказала это в Праге, я все прекрасно понимаю, даже, может быть, лучше тебя; и все-таки в силу какой-то слабости я не могу справиться с этой фразой, чтение затягивается до бесконечности, и в конце концов я еще раз переписал ее, чтобы ты тоже ее увидела и мы читали ее вместе, висок к виску. (Твои волосы у моего виска.)

Это было написано до того, как пришли два твоих карандашных письма. Неужели ты думаешь, что я не знал, что они придут? Но я это знал только в глубине, а там человек не живет постоянно, он, увы, предпочитает жить в наихудшем образе на земле. Не знаю, почему ты все время боишься каких-то моих самочинных действий. Разве я не достаточно ясно об этом написал? А телеграмму г-же Колер[58] я ведь послал только потому, что целых три дня – и ужасных дня – не имел от тебя никаких известий, ни даже телеграмм, и чуть было не подумал, что ты заболела.

Вчера был у своего врача, он нашел, что мое состояние почти такое же, как и до Мерана, три месяца прошли для легких почти безрезультатно, в левом легком болезнь сидит так же здоровехонька, как и прежде. Он считает подобный успех совершенно неутешительным, я – вполне сносным: ведь как бы я выглядел, если бы то же самое время провел в Праге? Он считает также, что я несколько не прибавил в весе, но, по моим расчетам, все-таки килограмма на три потолстел. Осенью он хочет попробовать впрыскивания, но я не думаю, что это стерплю.

Когда я сравниваю эти результаты с тем, как ты прожигаешь свое здоровье (по сугубой необходимости, разумеется; я полагаю, тут мне и оговариваться нечего), мне кажется иногда, что мы, вместо того чтобы жить вместе, просто тихо-мирно уляжемся вместе, чтобы умереть. Но что бы ни случилось – все будет рядом с тобой.

Между прочим, не в пример врачу, я знаю, что, чтобы мало-мальски выздороветь, мне требуется только покой, причем совершенно особый покой или, если взглянуть иначе, совершенно особое беспокойство.

Сегодня национальный праздник Франции,[59] под окнами войска шагают домой после парада. Есть в этом – я чувствую по дыханию твоих писем – что-то грандиозное. Не пышность, не музыка, не парадный шаг; не давний, сбежавший из (немецкого) паноптикума француз в красных штанах да синем кафтане, который вышагивает перед отделением, а некая манифестация сил, возглашающих из глубины: «Невзирая ни на что, о вы, бессловесные, передвигаемые, марширующие, до одичания доверчивые люди, невзирая ни на что, мы вас не оставим, даже в ваших величайших глупостях не оставим, и особенно в них». Смотришь с закрытыми глазами в эти глубины и почти тонешь в тебе.

Наконец-то мне принесли кучу документов, что скопилась для меня, подумай, с тех пор как служу в бюро, я написал ровным счетом шесть официальных писем, и это терпят. Множество работы, которое меня ожидает, я не мог до сих пор получить из-за лени того отдела, который хранит ее для меня, к моему большому удовлетворению. Но теперь бумаги здесь. И тем не менее – ничего страшного, если я хоть немного выплюсь. Сегодня, правда, с этим обстоит довольно-таки скверно.

Ф.

15 июля, Четверг

Пишу в спешке, перед уходом в бюро, хотел молчать, три дня давлюсь этим, хотя бы сейчас, пока ты ведешь там свою ужасную борьбу, я

хотел молчать, но это невозможно, никуда не денешь мою борьбу. Ты, наверное, заметила, что я уже которую ночь не сплю. Просто от «страха». В самом деле, он лишает меня воли, швыряет, куда ему заблагорассудится, я толком не знаю, на каком я свете... вдобавок в твои последние письма замешались два-три замечания, которые сделали меня счастливым, но только отчаянно счастливым, поскольку то, что ты говоришь, убеждает сразу и разум, и сердце, и тело, но тут есть еще более глубокая убежденность, не знаю, где она помещается, а ее явно ничем убедить не возможно. И наконец, то, что очень помогло ослабить меня, дивное успокоительно-беспокойное воздействие твоей физической близости день ото дня улечивается. Если б ты была уже здесь! А то у меня нет здесь никого, совершенно никого, кроме страха, вцепившись друг в друга, мечемся мы сквозь ночи. В этом страхе есть что-то очень серьезное (странным образом он всегда был направлен только против будущего, нет, это неправильно), [60] и в определенном смысле его можно понять благодаря тому, что он постоянно напоминает мне о необходимости великого признания: Милена тоже всего лишь человек. Все, что ты об этом говоришь, совершенно замечательно, однажды услышав, только это и хочется слушать, но что речь здесь идет не о самом главном, еще очень и очень большой вопрос, ведь страх этот вовсе не мой частный страх – хотя, конечно, и частный тоже, причем жуткий, – но с незапамятных времен это еще и страх всякой веры вообще.

Написал тебе это, и голова сразу остыла.

Твой

Четверг, позднее

Пришло ночное письмо из «Белого петуха» [61] и письмо от понедельника, первое, очевидно более позднее, но не наверняка. Я только раз быстро их просмотрел и должен тебе сразу ответить, просить тебя не думать обо мне плохо... И никакой ревности тут нет, просто такая игра вокруг тебя; потому что я хочу тронуть тебя со всех сторон, в том числе и со стороны ревности, но это глупо и больше не повторится, это всего лишь нездоровые грезы одиночества. О Максе у тебя тоже складывается превратное представление, вчера я наконец передал ему твои приветы, с досадой (см. выше!), потому что приветы ему передаются постоянно. Поскольку же у него для всего и всегда есть объяснение, он сказал, что ты часто передаешь ему приветы, наверное, только потому, что я еще ни разу не передал тебе его сердечных приветов, я, мол, должен наконец это сделать, и тогда, наверное, все это, к моему успокоению, прекратится. Возможно, вот я и пытаюсь.

А вообще ты, Милена, за меня не беспокойся, не хватало только, чтобы ты за меня беспокоилась. Если б не «страх», который одолевает меня уже несколько дней и на который я жаловался тебе нынче утром, я был бы почти совсем здоров. Кстати, как вышло, что ты тогда в лесу сказала, что именно так и думала? Наверну, в лесу, на второй день. Я точно различаю эти дни, первый был неуверенный, второй – чересчур уверенный, третий – покаянный, четвертый – добрый.

А теперь мне пора идти на свадьбу сестры. – Ну почему, почему я человек, со всеми муками этого неяснейшего и ужасно ответственного состояния. Почему я, к примеру, не счастливый шкаф в твоей комнате, который прямо смотрит на тебя, когда ты сидишь в кресле либо за письменным столом, или лежишь на диване, или спишь (благословен будь твой сон!). Почему я не шкаф? Да потому что я бы сломался от страдания, если бы видел тебя в бедствиях последних дней или если б тебе пришлось уехать из Вены.

Ф.

Знать, что ты скоро получишь паспорт, очень приятно.

Четверг

После обеда, с миртом в петлице, в более-менее твердом рассудке, несмотря на измученную голову (разлука, разлука!), высидел свадебный обед между двумя милыми сестрами нашего зятя. Но теперь все, больше нет сил.

Какая легкая будет жизнь, когда мы будем вместе, – как я, дурак, пишу об этом! – вопрос и ответ, глаза в глаза. А теперь придется по меньшей мере до понедельника ждать ответа на мое утреннее письмо. Пойми меня правильно и оставайся ко мне добра.

Ф.

16 июля, Пятница

Я хотел отличиться перед тобой, показать силу воли, повременить с письмом к тебе, закончить сначала один документ, но комната уже так пуста, никому я не нужен, – будто кто-то сказал: «Оставьте мне его, разве вы не видите, как он поглощен своими заботами, у него словно кулак во рту». Так что я сумел написать только полстраницы и снова вернулся к тебе, лежу над этим письмом, как лежал рядом с тобой тогда в лесу.

Письма сегодня не было, но я не боюсь, пожалуйста, пойми меня правильно, Милена, я никогда за тебя не боюсь; если иной раз и создается такое впечатление – а оно часто создается, – то это лишь слабость это прихоть сердца, которое тем не менее твердо знает во имя чего оно бьется; у великанов тоже бывают минуты слабости, даже Геракл, по-моему, падал однажды в обморок. Но со стиснутыми зубами, глядя в твои глаза, которые я вижу в самый ясный день, я могу вынести все: разлуку, тревогу, заботу, твое молчание.

Какой я счастливый, каким ты делаешь меня счастливым! Приходил тут клиент (подумай только: и у меня есть клиенты!), оторвал меня от письма, я разозлился, но у него было круглое, розовое, добродушное, при этом имперско-германско-корректное лицо, и он был настолько любезен, что даже шутки принимал за деловые ответы; но, как бы то ни было, он мне помешал, я не мог ему этого простить, к тому же мне пришлось подняться из-за стола, чтобы пройти с ним в другие отделы, – и вот это было для тебя, о добрая моя, уже чересчур, потому что именно в тот момент, когда я встал, вошел служитель и принес твое письмо, я распечатал его прямо на лестнице, и – о небо! – там фотография, то есть нечто совершенно, совершенно неисчерпаемое, такие письма приходят раз в год, раз в вечность, и фотография такая хорошая, лучше не бывает, – бедная маленькая фотография, на нее и смотреть-то позволительно лишь сквозь слезы, с бьющимся сердцем, не иначе.

И опять уже какой-то чужой человек сидит передо мной.

В продолжение начатого: все я могу вынести – с тобой в сердце: и если я однажды написал, что дни без твоих писем были ужасны, то это неверно, они были лишь ужасно тяжелы – лодка была тяжела, погруженная в волны ужасно глубоко, до краев, но плыла все-таки на твоих волнах, в твоём потоке. Лишь одного я не смогу вынести без твоей решительной подмоги, Милена: того самого «страха», – тут я слишком слаб, эту громаду ужаса я не могу даже окинуть взором, она захлестывает и уносит меня.

То, что ты говоришь о Ярмиле, как раз и есть одна из тех сердечных слабостей, на мгновение твое сердце перестает хранить мне верность, и тогда тебе приходят в голову такие мысли. Разве мы в этом смысле еще два человека? И разве мой «страх» сильно отличается от страха самозапятнания?

Снова меня прервали; писать в бюро становится уже невозможно.

Обещанное длинное письмо могло бы снова нагнать на меня страху, не будь сегодняшнее письмо таким утешительным. А что будет в том?

Напиши мне сразу, дошли ли деньги. Если они затерялись, я пошлю еще, а если и те затеряются, снова пошлю – и так далее до тех пор, пока у нас вообще ничего не останется, и тогда наконец-то все будет в порядке.

Ф.

А цветка я не получил, – похоже, в последнюю минуту ты его все-таки для меня пожалела.

17 июля, Суббота

Ты не вполне меня понимаешь, Милена, я же почти совершенно с тобой согласен. В одиночку я вовсе не собираюсь этого делать.

Приеду ли я в Вену, сегодня еще не могу сказать, но думаю, не приеду. Если раньше возражений у меня было много, то сейчас только одно: это выше моих душевных сил, ну и, пожалуй, разве что еще далекая второстепенная причина – так лучше для нас всех. Однако добавлю, мне было бы точно так же, а то и еще больше не по силам, если б ты в нынешних описанных тобой обстоятельствах (nechat cloveka sekat[70]) приехала в Прагу.

Необходимость узнать то, что ты хочешь рассказать мне об этих шести месяцах, возникла не вдруг. Я уверен, что это нечто ужасное, уверен, что ты пережила, а может быть, даже и совершила ужасные вещи, уверен, что как современник я, вероятно, не смог бы этого вынести (хотя еще семь лет назад мог вынести едва ли не все), уверен я и в том, что как современник не вынесу этого и в будущем, – ладно, но к чему все это, разве самое важное для меня – твои переживания и поступки, а не просто ты сама? Тебя же я и без этого рассказа знаю куда лучше, чем себя самого, но этим я вовсе не хочу сказать, что не знаю состояния моих рук.

Твое письмо ничуть не противоречит моему предложению, наоборот, ведь ты пишешь: «Nejradeji bych utekla treti cestou, ktera nevede ani k Tobe ani s nim, nekam do samoty».[71] Я предлагаю, чтобы ты написала его в тот же день, что и я.

Конечно, на этой стадии болезни ты даже на время не можешь оставить мужа, но ведь, как ты пишешь, болезнь не бесконечна, ты писала всего о нескольких месяцах, месяц с лишним уже миновал, еще через месяц он сможет худо-бедно без тебя обойтись. То есть в августе, самое позднее в сентябре.

Кстати, признаюсь: это твое письмо из тех, какие я не могу прочитать сразу, и хотя на сей раз я прочел его целых четыре раза кряду, по крайней мере мнение свое высказать прямо сейчас не смогу. Думаю, написанное выше так или иначе остается в силе.

Твой

18 июля, Воскресенье

Еще ко вчерашнему: твое письмо побудило меня посмотреть на все с другой стороны, с какой я до сих пор смотреть остерегался. И тогда все выглядит иначе и весьма необычно.

Я ведь не борюсь с твоим мужем за тебя – борьба совершается только в тебе; если б решение зависело от борьбы между твоим мужем и мной, все было бы давно решено. При этом я вовсе не переоцениваю твоего мужа, и очень даже возможно, что я его недооцениваю, но одно я знаю: если он меня любит, то это любовь богача к бедности (кое-что от этого есть и в твоём отношении ко мне). В твоей совместной жизни с ним я на самом-то деле всего лишь мышка в «большом доме», которой в лучшем случае раз в год дозволяется открыто перебежать по ковру.

Так обстоят дела, и это несколько не странно, меня это не удивляет. Но что меня удивляет – и что, наверное, вообще невозможно понять, – это то, что ты живешь в этом «большом доме», всем своим существом ему принадлежишь, черпаешь в нем всю силу жизни, царишь в нем королевой и все-таки – это я знаю точно – имеешь возможность (но именно лишь потому, что ты все можешь: ja se prece nezastavim ani pred – ani pred – ani pred...[72]) не только любить меня, но и быть всецело моей, перебежать по своему собственному ковру.

Но самое удивительное не в этом. Оно в том, что, пожелай ты уйти ко мне, то есть – если судить «по-музыкальному» – пожертвуй ты всем миром, чтобы снизойти ко мне, на такое дно, где, если смотреть с твоих высот, не только мало что, но вообще ничего не видно, – тебе для этого (вот что самое странное!) пришлось бы не спуститься, а неким сверхчеловеческим усилием вознестись над собой, вырваться за свой предел – и так высоко, что все, наверное, кончилось бы неминуемым обрывом, низвержением, исчезновением (для меня, разумеется, тоже). И все это ради того, чтобы попасть ко мне, в то место, куда ничто не манит, где я сижу с пустыми руками, без

малейшего достоинства за душой, будь то счастье или несчастье, заслуга или вина, – просто сию там, куда меня посадили. В табели рангов человеческих я что-то вроде мелкого довоенного бакалейщика в твоих предместьях (даже не шарманщик, куда там!); и если б я даже отвоевал себе это место в жестокой борьбе – но я его не отвоевал, – все равно это не было б заслугой.

Чрезвычайно ясно все то, что ты пишешь о корнях, наверняка так оно и есть. Между прочим, главная задача в Турнау была – сперва найти и удалить все боковые корни, а когда оставался только основной корень, работа, считай, была уже сделана, руби теперь заступом этот корень и тащи все вон. До сих пор в ушах звучит этот треск. Вообще-то дергать там было хорошо, потому что это дерево, как все знали, будет и на новом месте прекрасно расти, к тому же это было еще не дерево, а детеныш.

Вчера опять говорил с Л. Мы ведь полностью согласны насчет него. Кое-что говорит в его пользу, например что он, говоря о тебе, старается взять себя в руки, все ж таки сердцевина у него хорошая. Что он мне рассказал? Ну, я дважды с ним встречался, и, в сущности, он каждый раз со множеством мелких подробностей рассказывал одну и ту же историю. Девушка, невеста другого, приходит к нему, невзирая на его крайнее неудовольствие, сидит у него часов восемь-десять (одна девушка у него на квартире утром, другая – ночью в редакции, так он распределяет освещение), объявляет, что он непременно ей нужен и что, если он заартачится, она выпрыгнет в окно. Он в самом деле артачится, но зато открывает доступ к окну. В окно девушки, правда, не выпрыгивают, но происходит нечто ужасное, одна начинает с криком биться в истерике, вторая – забыл, что с нею стряслось. Я, конечно, не отрицаю, что все на самом деле было так или еще хуже, я только не понимаю, почему это так скучно.

Впрочем, в рассказах о его невесте одно прелестное место все-таки было. Ее отец два года страдал меланхолией, и она ухаживала за ним. Окно в комнате больного нужно было все время держать открытым, но, когда внизу проезжал автомобиль, створки необходимо было на минутку захлопнуть, потому что отец не выносил шума. Дочка-то и закрывала окно. Рассказав об этом, Л, добавил: «Представляете, искусствоведца!» (Она была искусствоведшей.)

Он мне и фотографию ее показал. Вероятно, хорошенькое меланхоличное еврейское лицо, узкий нос, тяжелые глаза, нежные удлиненные руки, дорогое платье.

Ты спрашиваешь о девушке, а я ничего нового о ней не знаю. С тех пор как она дала мне тогда письмо для тебя, я больше ее не видел. Правда, тогда мы условились встретиться, но тут как раз пришли твои первые письма о разговорах с мужем, я почувствовал, что не способен говорить с нею, и под благовидным предлогом отменил встречу, но с самым искренним дружелюбием. Позднее я еще послал ей записку, но, похоже, она истолковала ее превратно, потому что я получил от нее назидательное материнское письмо (где она, в частности, просила адрес твоего мужа); я, понятно, ответил немедля, пневматической почтой, уже больше недели прошло, и с тех пор я о ней не слышал, а стало быть, не знаю, что ты ей написала и как это на нее подействовало.

Ты пишешь, что в следующем месяце, наверное, приедешь в Прагу. А мне чуть ли не хочется попросить: не приезжай. Оставь мне надежду, что, если когда-нибудь я в крайней нужде попрошу тебя приехать, ты приедешь тотчас, но сейчас лучше не приезжай. Ведь тебе придется опять уехать.[73]

Что до нищенки, то здесь, конечно же, не было ни хорошего, ни плохого, я был просто слишком рассеян или чересчур занят неким человеком, чтобы действовать иначе, нежели по смутным воспоминаниям. И одно такое воспоминание, например, говорило: «Не подавай нищим слишком много, а то после пожалеешь». Совсем маленьким мальчиком я однажды получил монетку в десять крейцеров и ужасно хотел подать ее старухе нищенке, которая сидела между большим и малым Рингом. Сумма казалась мне огромной, какой, наверное, ни одному нищему никогда не подавали, потому-то я стеснялся перед нищенкой совершить этакий неслыханный поступок. Но отдать ей деньги было необходимо, вот почему я разменял монетку, подал нищенке один крейцер, обошел вокруг весь комплекс ратуши и аркады на малом Ринге, появился слева как совершенно новый благодетель, подал нищенке еще один крейцер, опять припустил бегом и счастливо проделал это десять раз. (Может, и меньше, по-моему, нищенка вскоре потеряла терпение и сбежала от меня.) Как бы там ни было, под конец я до того измучился, и морально тоже, что сразу пошел домой и плакал до тех пор, пока мать не подарила мне другую такую же монетку в десять крейцеров.

Сама видишь, мне с нищими не везет, но я все-таки заявляю, что готов выплатить какой-нибудь нищенке возле Оперы все мое нынешнее и будущее состояние самыми мелкими венскими чеками, при условии, что ты будешь стоять рядом и мне будет позволено чувствовать твою близость.

Франц

19 июля, Понедельник

Относительно многого ты заблуждаешься, Милена.

Во-первых, я вовсе не так серьезно болен, и стоит мне немного поспать, я чувствую себя так хорошо, как едва ли когда-либо чувствовал себя в Меране. Ведь легочные болезни по большей части самые сговорчивые, особенно жарким летом. Как я справлюсь с поздней осенью – этим вопросом и зададимся позднее. Сейчас же лишь кое-какие мелочи заставляют меня страдать – например, то, что я решительно ничего не могу делать в своем бюро. Если я не пишу к тебе, я лежу в кресле и глазею в окно. Из него много чего видно, потому что дом на противоположной стороне – одноэтажный. Не хочу сказать, чтоб мне от глазения было уж особенно грустно, вовсе нет, только вот оторваться не могу.

Во-вторых, я вовсе не испытываю нужды в деньгах, у меня их предостаточно, а некоторые избытки – например, деньги на твой отпуск – меня прямо-таки угнетают, поскольку все еще лежат тут у меня.

В-третьих, ты уже сделала – раз и навсегда – самое решающее для моего выздоровления и к тому же делаешь это снова и снова, каждую секунду – тем, что добра ко мне и думаешь обо мне. (И вообще не беспокойся насчет меня: в последний день я буду ждать так же, как и в первый.)

В-четвертых, все, что ты с легкой опаской говоришь о поездке в Прагу, совершенно верно. «Верно» – так я написал и в телеграмме, но там это относилось к разговору с твоим мужем, и уж это было единственно верным. Сегодня утром, например, я вдруг отчетливо осознал, что боюсь – с любовью, с дрожью в сердце боюсь того, что ты внезапно, введенная в заблуждение какой-нибудь случайной мелочью, появишься в Праге. Но способна ли и в самом деле какая-либо мелочь повлиять на тебя – на тебя, живущую истинно полной жизнью вплоть до самых ее глубин? И даже венские наши дни не должны вводить тебя в заблуждение. Ведь даже там мы, возможно, многим были обязаны твоей бессознательной надежде на то, что вечером ты сможешь снова его увидеть. Или вот это еще: из твоего последнего письма я узнал две новости – о гейдельбергском плане, во-первых, и о парижском плане, тоже связанном с уходом из банка, во-вторых; [62] судя по первому плану, я все-таки каким-то образом числюсь в ряду «спасителей», причем насильственных. Но я ведь в то же время и не нахожусь ни в каком ряду. А из второго плана мне стало ясно, что и там есть будущая жизнь, проекты, возможности, виды – и твои виды тоже.

В-пятых, изрядная доля мучительных твоих самоистязаний (единственная боль, которую ты мне причиняешь) происходит оттого, что ты пишешь мне каждый день. Пиши реже, а я и впредь буду, если хочешь, писать тебе каждый день по письму. И у тебя будет больше покоя, чтоб заниматься работой, которая доставляет тебе столько радости.

Спасибо за «Донадье». [63] (Не могу ли я как-нибудь прислать тебе книги?) Прочешь ее я сейчас вряд ли смогу, очередная маленькая незадача: я не могу читать и опять-таки не особенно от этого мучаюсь, – просто не могу, и все. Надо прочитать большую рукопись Макса («Иудаизм, христианство, язычество» [64] – большая книга), он меня чуть ли не подгоняет уже, а я едва начал; сегодня один молодой поэт принесет 75 стихотворений, некоторые из них многостраничные, опять с ним рассорюсь, однажды так уже было, кстати говоря.

Ответное письмо девушки, из которого ты можешь составить и мое письмо, прилагаю, чтобы ты видела, как меня отставляют, не без резона. Я больше не отвечаю.

Вчерашний вечер был не намного лучше, чем в прошлое воскресенье. Началось все очень даже хорошо; когда я вышел из дому, собираясь на кладбище, было 36° в тени, и трамваи бастовали, но как раз это особенно меня порадовало, ведь я предвкушал эту пешую прогулку почти так же, как тогда в субботу прогулку в садик подле Биржи. Но когда добрался до кладбища, не сумел найти могилу, канцелярия была на замке, ни служители, ни женщины ничего не знали, я даже в одной из книг справлялся, но книга оказалась не та, несколько часов бродил там, от чтения надписей голова пошла кругом, и в таком вот состоянии ушел с кладбища.

Ф.

20 июля, Вторник

Вот две твои телеграммы... А главное, после почти бессонной ночи я наконец сижу над этим письмом, которое кажется мне бесконечно важным. Все письма, которые я написал тебе из Праги, вообще бы писать не стоило, тем паче последние, одно только это вправе существовать; или, в общем, пусть они тоже будут, не все ли равно, но это письмо должно быть на самом верху. К сожалению, я не сумею сказать и малой доли того, что говорил тебе вчера вечером или рассказывал сегодня ночью или утром. Так или иначе, главное: что бы ни говорили о тебе другие в широком кругу вокруг тебя от высокого ли благоразумия, от животной ли (но животные не таковы) тупости, от дьявольской ли доброты, от человекоубийственной ли любви, – я, я, Милена, совершенно точно знаю, что, как бы ты ни поступила, это будет правильно, – останешься ли ты в Вене, или приедешь сюда, или по-прежнему будешь парить меж Веной и Прагой, или будешь поступать то так то этак. Как же я мог бы общаться с тобой, если б не знал этого. Как в глубинах моря нет такого местечка, что не находилось бы под сильнейшим давлением, так и у тебя, но любая другая жизнь позорна, и мне от нее дурно; до сих пор я думал, что не вынесу этой жизни, не вынесу людей, и очень этого стыдился, но ты теперь подтверждаешь мне, что невыносимой казалась мне не жизнь. [65]

Твой

Вторая половина дня

В бюро мне удалось отбиться от этого письма, правда ценой немалого труда и почти всех сил, так что на конторскую работу их не осталось.

Письмо Стасе: Й. вчера утром был у меня и упомянул, что от тебя пришло письмо, он видел его на столе, уходя утром из дому, но, что там написано, еще не знает, вечером Стася сама мне скажет. От его дружелюбия мне стало довольно-таки неловко, ведь мало ли что, по моей милости, может быть написано в твоём письме. Но вечером оказалось, что письмо все-таки было очень хорошее и ублаготворило обоих, по крайней мере что касается его дружеского тона (я его не читал); прежде всего там была короткая благодарственная фраза для мужа, которая наверняка связана с моими сообщениями, она действительно обрадовала Стасю, и его глаза заставила блеснуть чуть ярче обычного. Они все же хорошие люди, и у Стаси была дивно прекрасная минута, когда она в общем-то непонятно долго, и внимательно, и молча, и серьезно рассматривала твою фотографию. Пожалуй, я еще кое-что расскажу об этом вечере, я был усталый, опустошенный, скучный, впору побить, безучастный и с самого начала хотел только одного – лечь в постель. (Прилагаемый листок, рисунок Стаси – мы говорили о расположении твоих комнат – с объяснениями Й., пересылаю тебе, как велено.)

Вчера я советовал тебе не писать мне каждый день, я и сегодня не изменил своего мнения, так было бы лучше для нас обоих, и советую тебе это еще раз, и еще более настоятельно, – только, пожалуйста, Милена, не следуй моему совету и все-таки пиши каждый день, хоть несколько строк, совсем коротенькие письма, две строчки, одну, одно слово, но без этого слова я смогу обойтись, только мучительно страдая.

Ф.

21 июля, Среда

Все-таки мужество дает свои результаты.

Прежде всего: Гросс.[66] наверное, во многом прав, если я верно его понимаю; в пользу его теории говорит по крайней мере то, что я еще жив, – а ведь вообще-то, если учитывать мой внутренний баланс сил, я давно уже не жилец на этом свете.

Далее: как оно будет потом – об этом речь сейчас не идет, ясно только, что вдали от тебя я не могу жить иначе, кроме как всецело вверяясь страху, доверяясь ему больше, чем он того хочет, и делаю я это без всякого усилия, с восторгом, я как бы изливаюсь в него.

Ты права, когда, памятуя об этом страхе, упрекаешь меня за мое поведение в Вене, но страх этот в самом деле странен, внутренних его законов я не знаю, знаю только его хватку на своем горле, и это поистине самое ужасное, что я когда-либо испытывал или мог бы испытать.

Тогда, наверное, получается, что каждый из нас живет в супружестве: ты в Вене, я со своим страхом в Праге, и мы оба – не только ты, но и я – тщетно пытаемся порвать эти узы. Ведь смотри, Милена: если б тогда в Вене ты была полностью во мне убеждена (согласна со мной вплоть до походки, которая тебя не убедила), ты бы сейчас уже не была вопреки всему в Вене, точнее говоря, уже не существовало бы никакого «вопреки», а ты просто была бы в Праге, и все, чем ты утешаешь себя в последнем письме, – оно и есть утешение, не больше. Ты не согласна?

Ведь если бы ты сразу приехала в Прагу или, по крайней мере, сразу бы приняла такое решение, это не было бы для меня доказательством в твою пользу – относительно тебя я не нуждаюсь ни в каких доказательствах, ты для меня превыше всего, ты сама ясность и надежность, – но это было бы великим доказательством в мою пользу, а в нем-то я и нуждаюсь. Тут страх мой тоже находит дополнительную пищу. А может быть, все обстоит еще хуже, и именно я, «спаситель», удерживаю тебя в Вене, как никто прежде.

Н-да, в лесу нам постоянно грозила непогода, но все равно было хорошо. Давай и дальше жить под ее угрозой, раз уж иначе нельзя.

Не понимаю, что ты имеешь против письма этой барышни. Свою задачу – вызвать у тебя легкую ревность – оно выполнило, верно ведь? Впредь буду сам время от времени изобретать такие письма и собственноручно их писать, еще лучше, чем то, и без окончательного отпора.

Пожалуйста, хоть несколько слов о твоей работе! «Песта»? «Липа»? «Кмен»? «Политика»?[67]

Хотел еще кое-что сказать, но тут опять явился какой-то молодой поэт – не знаю, как только кто-нибудь приходит, я сразу вспоминаю о моих документах и во время всего визита ни о чем другом думать не могу, – я устал, ничего не знаю и хотел бы лишь уткнуться лицом в твои колени, почувствовать на волосах твою руку и остаться так навеки.

Твой

Да, вот что я еще хотел сказать, в твоём письме (среди других правд) есть одна большая правда, *ze vlastne Ty jsi clovek, ktery nema tuseni o tom...*[68] Это чистая правда, от слова до слова. Все было лишь грязь, жалчайшая мерзость, погружение в ад, и тут я в самом деле стою перед тобой как ребенок, который совершил очень скверный проступок и теперь стоит перед матерью, и плачет, и дает обет: я больше никогда не буду. Но из всего этого страх как раз и черпает силу: «Как же, как же! – твердит он. – Nema tuseni!»[69] Пока ничего не случилось! Значит, его еще можно спасти!»

Я вздрагиваю – телефон! Вызывают к директору! Впервые с тех пор, как я вернулся в Прагу, меня вызывают к начальству по служебным делам! Вот сейчас-то и раскроется все мое жульничество! Восемнадцать дней только и делал, что писал письма, читал письма, а главное – тарасился в окно: повертишь письмо в руке, отложишь, возьмешь снова; еще беседовал с посетителями – и больше ничего!

Но стоило мне только спуститься к нему и переступить порог, как меня встретила приветливая улыбка, что-то он мне рассказывал деловое (я ничего не понял), потом стал прощаться со мной – он уезжает в отпуск; непостижимо добрый человек! (Правда, я промямлил что-то невразумительное насчет того, что у меня все готово и с завтрашнего дня я уже начинаю диктовать.) И вот я спешу вкратце доложить об этом тебе, мой добрый дух.

22 июля, Четверг

Милена, прилежная моя Милена, твоя комната меняется в моем воспоминании, письменный стол и вся обстановка поначалу, собственно, отнюдь не производили впечатления, что там кипит работа, а сейчас работы так много, я ее чувствую, она меня убеждает, я отчетливо ощущаю, какая в этой комнате царит великолепная атмосфера горячки, прохлады и радости. Только шкаф по-прежнему неуклюж, да замок иногда заедает – ничего не отдает, судорожно упирается, а особенно не хочет выдавать платье, которое было на тебе «в воскресенье». Это никудышный шкаф; если тебе доведется обживать новую квартиру, мы его вышвырнем.

О многом, что я написал в последнее время, я жалею, не сердись на меня. И пожалуйста, не терзайся все время мыслью, что это лишь твоя вина (и вообще твоя вина), если ты не можешь вырваться. В гораздо большей степени это моя вина; как-нибудь я об этом напишу.

23 июля, Пятница

Нет, стало быть, на самом-то деле все обстоит не так уж и плохо. А потом – как душе иначе освободиться от бремени, если не посредством невинного зубоскальства? И, кроме того, я сегодня считаю верным почти все, что написал. Кое-что ты неверно истолковала – например, насчет «единственной боли»; ведь это именно твое самоистязательство мне ее причиняет, а не твои письма, они-то каждое утро дают мне силы перенести день – и так хорошо перенести, что я не хотел бы лишиться ни одного из них (этих писем, что само собой разумеется, – ни единого из них! – но и этих дней тоже). И письма, лежащие на столике в моей прихожей, вовсе меня не опровергают – уже сама возможность написать их и положить туда значила для меня немало. И я вовсе не ревную, уверяю тебя; но вот

то, что ревновать вообще ни к чему, – это мне трудно понять. Не ревновать – это мне удается всегда; осознать ненадобность ревности – гораздо реже. Да, еще по поводу «спасителей». Самое в них странное (и знаешь, так им и надо, я стою в сторонке и радуюсь – радуюсь не каждому отдельному случаю, а этому мировому закону) – то, что они, желая что-то вытащить, лишь со звериным упорством это заколачивают еще глубже.

Теперь мне, стало быть, есть что сообщить Макс: твое – хоть и весьма краткое – суждение о его пространном опусе.[86] Он ведь все время о тебе спрашивает, как у тебя дела, что нового – все-то его заботит до глубины души. Но я почти всегда мало что могу ему сказать, – к счастью, уже сам язык не поворачивается. Не могу же я рассказывать как ни в чем не бывало о какой-то там Милене из Вены – мол, вот «она» то-то и то-то говорит, делает, имеет в виду. Ты ведь никакая не «Милена» и не «она», это все чистый абсурд, потому и сказать мне нечего. Это настолько очевидно, что я и сожалений никаких не испытываю.

А вот говорить о тебе с чужими людьми – это я могу, и это даже совершенно утонченное удовольствие. Если б я еще позволял себе при этом немного ломать комедию – а соблазн велик, – удовольствие было б еще полней. Недавно я встретил Рудольфа Фукса.[87]

Я к нему очень расположен, но сама по себе радость встречи, конечно же, не была бы для меня так велика, и руку ему я не жал бы с таким мужицким усердием. При этом я ведь понимал, что толк будет невелик, но пускай хоть самый малый, думал я. Разговор сразу перешел на Вену и на общество, в котором он там вращался. Я проявил живейший интерес к именам, он начал перечислять, но нет, я не то имел в виду, мне женщин называй. «Ну, там была и эта Милена Поллак, Вы ведь ее знаете». – «Да, Милена», – повторил я и вперил взор в Фердинандштрассе – что он на это скажет. Потом посыпались другие имена, меня опять охватил приступ моего вечного кашля, и разговор сник. Как его взбодрить? «Вы не помните, в каком году во время войны я был в Вене?» – «В семнадцатом». – «А Эрнста Поллака тогда еще не было в Вене? Я его не видел. Он был еще не женат?» – «Нет». Конец. Я бы, конечно, мог его заставить еще немного поговорить о тебе, но сил на это уже не хватило.

Как у тебя обстоит с таблетками сейчас и в последнее время? Ты впервые опять пишешь о головных болях.

Можешь сказать несколько слов о парижском плане?

Куда ты теперь поедешь? (Место с хорошей почтовой связью?) Когда? Надолго ли? На шесть месяцев?

Сообщай мне всегда номера журналов, где есть какие-нибудь твои публикации.

Как же ты все-таки устроила этот двухдневный визит в Прагу? (Вопрос из чистого любопытства.)

Спасибо за «хотя», волшебное слово, которое проникает мне прямо в кровь.

Пятница, после обеда

Дома нашел вот это письмо. Девушку эту я знаю уже давно, мы, наверное, даже немножко в родстве, во всяком случае у нас есть общий родственник, тот самый кузен, о котором она упоминает и который лежал в Праге тяжелобольной, а она и ее сестра несколько месяцев за ним ухаживали. Физически она мне почти неприятна, непомерно большое круглое краснощекое лицо, маленькое круглое тело, противно шепчущий голос. В остальном же я слышал о ней хорошее, то бишь за глаза родня ругала ее.

Два месяца назад мой ответ на подобное письмо был бы очень прост: нет, нет, нет. Теперь, думаю, я не имею на это права. Не то чтобы я считал, будто могу как-то ей помочь, конечно, еще Бисмарк окончательно и бесповоротно разделялся с такими письмами, ссылаясь на то, что жизнь есть бестолковый пир, где с нетерпением ждешь закуски, а между тем тайком успели пронести мимо парадное жаркое, вот на это, мол, и надо настраиваться – ах, до чего же глупая премудрость, ужасно глупая! – скорее ради себя, чем ради нее, я напишу ей, что готов с нею встретиться, благодаря тебе, Милена, мне в руки кое-что дано, и, по-моему, я не должен держать это в кулаке!

Дядя завтра уезжает, я опять ненадолго выберусь на воздух, в воду, за город, мне это очень нужно.

Она пишет, что письмо можно читать только мне, эту просьбу я выполняю, посылая его тебе. Порви его. Кстати, прелестное место: *zeny nepotrebuji mnoho*. [88]

24 июля, Суббота, чуть позже

Как ни верти твое сегодняшнее письмо, такое милое, такое преданное, принесшее мне столько радости и счастья, – оно все-таки «письмо спасателя». Милена среди спасателей! (Находишь я среди них, была бы она тогда уже со мной? Нет, как раз тогда-то наверняка нет.) Милена среди спасателей – она, знающая по себе, убеждающаяся снова и снова, что спасти другого человека можно только самим фактом своего бытия, и ничем иным. И вот она, спасая меня уже одним тем, что она есть, пытается теперь задним числом сделать то же самое другими, бесконечно более жалкими средствами. Когда человек спасает тонущего, это, конечно, подвиг, но когда он потом дарит спасенному еще и абонемент на уроки плавания – это зачем? Зачем спасателю облегчать себе задачу, зачем он отказывается и впредь спасать другого только самим фактом своего бытия, своей постоянной готовностью спасти, зачем он перекладывает эту обязанность на плечи тренеров и давосских хозяев отелей? А помимо всего прочего, я вещь целых пятьдесят пять килограммов и сорок граммов! И куда я улечу, если мы друг с другом держимся за руки? А если мы оба улетим, тогда зачем все это? И, кроме того – вот, собственно говоря, суть всех моих предшествовавших разглаговльствований, – я никогда больше не уеду от тебя в такую даль. Я ведь только что выбрался из подземелий меранской тюрьмы.

Суббота, вечером

Все это было написано, я хотел сегодня еще что-то написать, но теперь это не имеет значения. Я вернулся домой, увидел в темноте неожиданное письмо на столе, пробежал его глазами, меня несколько раз звали ужинать, я что-то ел, что, к сожалению, не хотело исчезать с тарелки никаким иным путем – глотай его, и все тут, – потом прочел письмо основательно, медленно, торопливо, исступленно, трепеща от

счастья, в какой-то момент удивившись – невозможно поверить во что-то, но оно тут, перед тобой, ты все-таки не веришь, но вдруг сникаешь, смиряешься и понимаешь: вот это и есть вера, – а в конце нахлынуло отчаяние, безысходное, до сердцебиения отчаяние. «Приехать не могу» – это я знал уже с первой строки и до последней, хотя в промежутке столько раз побывал в Вене, – так в долгую ночь, когда сна ни в одном глазу, человек раз десять видит сны, длящиеся с полминуты каждый. Потом я сходил на почту, послал тебе телеграмму, немного успокоился и вот сижу над этим письмом. Сижу и мучаюсь жалкой обязанностью доказывать тебе, что приехать я не могу. Правда, ты пишешь, что я человек не слабый, так что, возможно, мне это удастся, но важнее, чтобы мне удалось выдержать последующие недели, из которых каждая уже сейчас неотступно и насмешливо глядит на меня, будто спрашивает: «Ты, стало быть, в самом деле не поехал в Вену? Получил такое письмо – и не поехал? Не поехал?» Я не понимаю музыки, но эту музыку, к сожалению, я понимаю лучше, чем все музыканты. Я не мог поехать, потому что не могу лгать на службе. То есть я могу лгать и на службе, но только по двум причинам – из страха (это, стало быть, чисто служебное дело, оно из этой сферы, тут я лгу без всякой подготовки, наобум, вдохновенно) или в случае крайней нужды (то есть когда «Эльза» [89] в самом деле заболевает, – Эльза, Эльза, не ты, Милена, ты не можешь заболеть, вот это была бы уж самая крайняя нужда, о ней я и думать не хочу), – итак, в случае нужды я солгу, глазом не моргнув, тут не надобны никакие телеграммы, над нуждой уже не властно никакое бюро, тут я поеду с разрешения или без него. Но во всех случаях, когда в числе причин для лжи самой главной будет счастье, нужда и счастье, я не смогу солгать, не смогу – точно так же, как не смогу выжать двадцатикилограммовую гиру. Приди я с телеграммой про Эльзу к директору, она наверняка выпадет у меня из рук, а когда выпадет, я наверняка на нее, на эту ложь, наступлю, а когда наступлю, наверняка тут же выбегу из директорского кабинета, ни о чем не попросив. Ты пойми, Милена, бюро ведь не просто глупое установление (оно, конечно, и глупо тоже, глупости в нем хоть отбавляй, но не об этом сейчас речь, к тому же оно больше фантастично, чем глупо) – оно еще и вся моя прежняя и нынешняя жизнь, я могу, конечно, с нею порвать, и это, возможно, было бы совсем неплохо, но пока-то это все-таки моя жизнь, я могу распоряжаться ею безалаберно – работать спустя рукава (что я и делаю), без конца отлынивать (что я и делаю), при всем при этом важничать (что я и делаю), спокойно принимать как должное самое благожелательное отношение к себе, какое только возможно в бюро, – но вдруг солгать, для того чтобы сорваться с места и, как свободный человек (это я-то, всего лишь нанятый служащий!), поехать туда, куда меня гонит «всего лишь» элементарное биение сердца, – нет, так лгать я не могу. Но что я хотел тебе написать еще и до получения твоего письма – это вот что: я на этой же неделе выправлю себе новый паспорт или, во всяком случае, приведу все в порядок со старым, чтобы приехать по возможности без промедления, когда будет необходимо.

Перечитал все и понял, что вовсе не то хотел сказать и что, стало быть, никакой я не «сильный», раз не сумел сказать как надо. Добавлю вот еще что: наверное, я способен там солгать еще в меньшей степени, чем смог бы человек, который считает (а таковы большинство чиновников), что все к нему несправедливо, что он надрывается на работе (считай я так о себе, это был бы уже почти скорый поезд на Вену!), что бюро управляется по-дурацки (он бы делал это много лучше), что он машина, в которой он, вследствие этой глупости управления, работает не на своем месте: он-то, по его способностям, обер-обер-колесо, а должен работать унтер-унтер-колесиком и т. д.; а для меня бюро – как это было и со школой, гимназией, университетом, семьей, со всем вообще – живой человек, который, где б я ни был, смотрит на меня невиннейшими глазами, человек, с которым я каким-то непонятным мне образом связан, хотя он мне более чужой, чем те люди, что едут сейчас, я слышу, на автомобилях по Рингу. Чужд он мне до безумия, но как раз потому-то и надо быть особенно к нему внимательным, ведь я почти не скрываю своей чуждости, но разве такая невинность способна ее вообще распознать, – вот я и не могу солгать.

Нет, я не «силен», и писать не могу, и ничего не могу. А ты, Милена, еще и отворачиваешься от меня, не надолго, я знаю, но, видишь ли, долго человек и не выдержит, если сердце не бьется, а как же ему биться, если ты отвернулась?

Если б ты смогла послать мне телеграмму после этого письма! Это лишь восклицание, не просьба. Только если сможешь сделать это свободно – тогда делай. Только тогда – ты видишь, я даже не подчеркнул этих слов.

Я забыл еще третье условие, которое смогло бы облегчить мне ложь: если б ты была рядом со мной.

Но тогда это была бы и самая невинная ложь на свете – ведь тогда в директорской комнате не было бы никого, кроме тебя.

25 июля, Воскресенье

Не знаю пока, что ты скажешь насчет вечернего субботнего письма, и еще долго не буду знать, как бы там ни было, сижу сейчас в бюро, воскресное дежурство (тоже странное занятие, сидишь, и все, другие во время таких дежурств работают, понятно, меньше обычного, я – ровно столько же), пасмурно, то дождь накрапывает, то облачный свет мешает писать – словом, все печально и тягостно, иначе не скажешь. Ты вот пишешь, что во мне есть радость жизни, но сегодня ее почти нет; да и откуда бы ей взяться – от нынешней ночи, от нынешнего дня? В глубине-то души она, несмотря ни на что, есть (приходи время от времени, доброе слово), а вот на поверхности ее очень мало. Я и сам себе таким не нравлюсь, сижу тут перед дверью дирекции, директора нет, но я бы не удивился, если б он вдруг вышел и сказал: «Мне вы тоже не нравитесь, поэтому я вас увольняю». – «Спасибо, – скажу я, – мне это весьма кстати для срочной поездки в Вену». – «Так, – скажет он, – теперь вы мне опять нравитесь, и увольнять вас я не стану». – «Ах, – скажу я, – значит, опять нельзя поехать». – «Почему? – скажет он. – Вы мне опять не нравитесь, и я вас увольняю». И так до бесконечности.

Сегодня, кажется, впервые с тех пор, как вернулся в Прагу, я видел тебя во сне. Предутреннее сновидение, короткое и тяжелое, после дурной ночи урвал-таки немножко сна. Помню мало что. Ты была в Праге, мы шли по Фердинандштрассе, примерно напротив Виллимека, в сторону набережной, по другой стороне улицы прошли какие-то твои знакомые, мы оглянулись и проводили их взглядом, ты заговорила о них, может быть, речь зашла и о Красе[90] (он не в Праге, я знаю, адрес его я постараюсь выяснить). Ты говорила как всегда, но в этом сквозил какой-то непостижный, неуловимый протест, я ничего не сказал, но проклинал себя, просто-напросто высказал проклятие, которое лежало на мне. Потом мы были в кофейне, вероятно в кафе «Унион» (оно ведь было по дороге), за нашим столиком сидели какой-то мужчина и девушка, но их я совершенно не помню, и еще один мужчина, очень похожий на Достоевского, только молодой, чернобородый и черноволосый, всё, например брови и бугры над глазами, выглядело необычайно мощно. А еще мы с тобой. И опять твоего протеста ничто не выдавало, но он все равно был. Лицо у тебя – я просто глаз не мог оторвать от мучительной странности – было напудрено, причем слишком заметно, неумело, плохо, к тому же, наверное, было жарко, и на твоих щеках образовались целые картины из пудры, я их и сейчас вижу. Я снова и снова наклонялся вперед, чтобы спросить, почему ты напудрена; а ты, заметив, что я хочу задать

вопрос, предпринимательство – протест ведь был не заметен – спрашивала: «Чего ты хочешь?» Но я не мог спросить, мне смелости не хватало, и при этом я каким-то образом догадывался, что эта напудренность – испытание для меня, решающее испытание, чтобы я как раз задал свой вопрос, и ведь я хотел, но смелости не хватало. Вот так печальный сон наваливался на меня. Вдобавок меня терзал еще и этот Достоевский. Со мной он вел себя примерно так же, как ты, но все же и чуточку по-другому. Когда я спрашивал его о чем-нибудь, он был очень приветлив, участлив, сердечно наклонялся вперед, когда же я опять не знал, что спросить и что сказать – а так происходило каждую минуту, – он рывком откидывался назад, углублялся в книгу, забывал обо всем на свете, и особенно обо мне, исчезал в своей бороде и волосах. Не знаю, отчего это было для меня так невыносимо, и я снова и снова – иначе я не мог – должен был притягивать его к себе вопросом и каждый раз опять терял его по своей же вине.

Есть у меня маленькое утешение, не запрещай мне его сегодня, передо мною лежит «Трибуна», [91] я вовсе даже не нарушал запрет и не покупал ее, а позаимствовал у зятя, нет, зять одолжил ее мне. Пожалуйста, не лишай меня этого счастья. Ведь меня в общем-то не интересует пока, что там написано, но я слышу голос – мой голос! – в шуме мира, не лишай меня этого счастья. И как это все замечательно! Не знаю, как это получается, я же читаю только глазами, а моя кровь тотчас все узнала и жарко несет это в себе. И до чего весело. Я, конечно, принадлежу ко второй группе: гиря на ногах вообще-то моя собственность, и я вовсе не согласен, что мое сугубо приватное обстоятельство делают публичным достоянием; однажды кто-то сказал, что я плаваю, как лебедь, но это был не комплимент. А еще это вызывает волнение. Я кажусь себе великаном, который, вытянув руки, удерживает публику от тебя на расстоянии – ему приходится туго, он должен удержать публику и все же хочет слышать каждое твое слово, ни на секунду не теряя тебя из виду, – публику, вероятно, твердолюбую, ужасно глупую, а вдобавок женственную, которая, наверное, еще и кричит: «Где мода? Ну где же наконец мода? Все, что мы видели до сих пор, „всего-навсего“ Милена». Всего-навсего, и этим «всего-навсего» я живу. А остальной мир я взял, как Мюнхгаузен лафеты Гибралтара, да и сбросил в огромное море. Как? Весь остальной мир? А лгать? В бюро ты лгать не можешь? Ну да, я сижу там, по-прежнему пасмурно, и письмо завтра не придет, и этот сон – последняя весточка от тебя.

Воскресенье, вечер

Ну, быстренько, вот она, возможность, и мы имеем ее каждую неделю; как же я раньше до этого недодумался; правда, сперва мне нужно получить паспорт, это не так просто, как ты полагаешь, и без Оттлы [92] почти невозможно:

В какую-нибудь субботу после обеда я сяду в скорый поезд и приблизительно (завтра узнаю точное расписание) в 2 часа ночи буду в Вене. А ты еще в пятницу купишь билет на воскресный скорый до Праги и телеграфируешь мне, что билет есть, ведь без этой телеграммы я не смогу выехать из Праги. Ты будешь ждать меня на вокзале, в нашем распоряжении больше четырех часов, в 7 утра в воскресенье я опять уеду в Прагу.

Вот такая, стало быть, возможность, правда несколько грустная, всего лишь четыре усталых ночных часа вдвоем (и где? в гостинице у вокзала Франца Иосифа?), но все-таки возможность, которую, между прочим, можно очень украсить тем, что ты – но есть ли эта возможность? – выедешь мне навстречу в Гмюнд, и мы проведем ночь в Гмюнде. Гмюнд ведь австрийский? Тогда паспорт тебе не понадобится. Я буду там, наверное, около 10 вечера, а может быть, и еще раньше и уеду в воскресенье скорым (в воскресенье место, наверное, получить легче) в 11 утра, а если есть подходящий поезд позднее, то и еще позже. Правда, как ты туда доберешься и уедешь обратно, я не знаю.

Ну, что скажешь? Странно, что я теперь должен задать тебе вопрос, а ведь целый день с тобой разговаривал. Адрес Красы – Мариенбад, гостиница «Штерн».

26 июля, Понедельник

Телеграмма не была ответом, а вот письмо, отосланное в четверг вечером, – это ответ. Не зря я, стало быть, мучился бессонницей, не зря сегодня с утра меня давила эта ужасная тоска – все верно. А муж твой знает о кровохарканье? Я понимаю, что не стоит все это преувеличивать, может, тут и нет ничего особенного, бывает, что иной раз идет кровь, но все-таки это кровь, и забыть об этом невозможно. А вот ты живешь себе, не задумываясь, живешь своей героически беспечальной жизнью, живешь так, будто уговариваешь кровь: «Ну, иди же, иди». И она идет. А что тут будет со мной – это тебя ничуть не тревожит, хотя ты, конечно, тонюдь не *petlivne*? [93] и прекрасно знаешь, что делаешь, но именно этого ты и хочешь – чтобы я стоял тут на пражском берегу, а ты тонула на моих глазах, погружалась в волны венского моря, всецело по своей воле. И если тебе нечего есть, это, значит, вовсе не потребность *pro se* [94] Или ты полагаешь, что это скорее моя потребность, чем твоя? Что ж, значит, ты права. И денег тебе, к сожалению, я не смогу больше прислать, потому что в обед я пойду домой и швырну ненужные бумажки в печку.

Выходит, мы совсем отделились друг от друга, Милена, и лишь одно, но могучее желание нас объединяет: чтобы ты была здесь, чтобы лицо твое было рядом со мной, как можно ближе. И конечно, еще желание смерти – нас объединяет желание «легкой» смерти, но оно ведь уже и совершенно детское желание; вот так же на уроке математики, когда учитель на кафедре листал свой кондуит и, возможно, искал мою фамилию, я следил за ним и, сравнивая с этим воплощением силы, ужаса и реальности свое непостижимое ничтожество и невежество, охваченный полусонным оцепенением страха, желал одного: подняться бы сейчас невидимкой, пробежать невидимкой между партами, пролететь мимо учителя на невесомых, как мои математические познания, крыльях, как-нибудь преодолеть дверь и, очутившись снаружи, прийти в себя и вдохнуть свободно на чудесном вольном воздухе, зная, что нигде в подлунном мире он не будет так накален, как в оставленной мною комнате. Да, так было бы «легче». Но так не бывало. Меня вызывали к доске, диктовали задачу, для решения нужна была таблица логарифмов, у меня ее не было (забыл дома), но я врал, что она осталась в парте (надеясь, что учитель даст мне свою), он посылал меня за таблицей, я – с тонюдь даже не наигранным ужасом (ужас в школе мне никогда не приходилось наигрывать) – обнаруживал, что ее там нет, и учитель (позавчера я его встретил) говорил мне: «Ох и крокодил!» Я сразу получал «неудовлетворительно», и это было даже хорошо, потому что я ведь получал эту отметку, собственно говоря, лишь формально, да еще и несправедливо (я хоть и соврал, но никто не мог этого доказать – тогда ведь это несправедливо?), а гвалом – мне не пришлось обнаруживать свое постыдное невежество. Значит, в целом-то даже и это еще было вполне «легко»: выходило, что при благоприятных условиях можно было «исчезнуть» даже и в самой комнате, возможности тут безграничны, и «умереть» можно и в самой жизни. [95]

Только одной возможности не существует – и что бы я ни болтал, это ясно, – возможности того, что ты сейчас войдешь и будешь здесь и

мы основательно побеседуем о твоём выздоровлении; а ведь именно эта возможность – самая настоятельная!

О многом я хотел тебе сегодня сказать, прежде чем прочел письмо, но что можно сказать, когда – пошла кровь? Пожалуйста, сразу напиши мне, что сказал врач и что он за человек.

Сцену на вокзале ты описала неверно, я не колебался ни секунды, все было так бесконечно печально и прекрасно, и мы были совсем одни, и было что-то непостижимо комическое в том, что люди – которых там не было! – вдруг взбунтовались и потребовали открыть ворота на перрон.

А вот перед гостиницей все было так, как ты говоришь. Ты была там такой красивой! А может, то была вовсе не ты. Ведь это очень странно, что ты так рано встала. Но если это была не ты, откуда же ты так точно все знаешь?

Хорошо, что тебе тоже нужны марки, я все эти два дня корю себя за свою просьбу о марках, уже когда я писал, я себя корил.

Понедельник, позднее

Ах, так много документов пришло именно сейчас. И для чего я работаю, вдобавок на невыспавшуюся голову. Для чего? Для кухонной печки.

Теперь еще и поэт, первый, он к тому же гравер по дереву, офортист, и не уходит, и столько в нем жизни, что он все вываливает на меня и смотрит, как я дрожу от нетерпения, рука на этом письме дрожит, голова у меня уже упала на грудь, а он не уходит, добрый, живой, счастливо-несчастливый, замечательный, но для меня как раз сейчас ужасно обременительный юноша. А у тебя кровь идет изо рта.

Вообще-то мы все время пишем одно и то же. То я спрашиваю, не больна ли ты, потом ты пишешь об этом, то я хочу умереть, то ты, то я хочу плакать перед тобой как маленький ребенок, то ты передо мной, опять же как маленький ребенок. И один раз, и десять, и тысячу, и всегда я хочу быть с тобой, и ты говоришь так же. Довольно, довольно.

И по-прежнему нет письма о том, что сказал врач, ты медлительная, нерадивая корреспондентка, злая, милая – ну, что же еще? Ничего, затихнуть у тебя на коленях.

27 июля, Вторник

Какое слабое знание людей, Милена. Я давно это говорил. Ну хорошо, Эльза заболела, вполне возможно, и поэтому, наверное, стоило бы поехать в Вену, но старая тетя Клара тяжело (больна)? Что же, по-твоему, я мог бы, отвлекаясь от всего прочего, пойти к директору и без усмешки рассказать про тетю Клару? (Конечно, тут опять не обошлось без знания людей, у каждого еврея есть своя тетя Клара, но моя-то давным-давно умерла.) Стало быть, это совершенно исключено. Хорошо, что у нас нет больше в ней нужды. Пусть умирает, она ведь не одна, при ней Оскар. Кстати, кто такой Оскар? Тетя Клара есть тетя Клара, но кто такой Оскар? Как бы то ни было, он при ней. Надеюсь, он хотя бы не захворает, этот архипроныра.[98]

Все же письмо, да какое! То, что я сказал вначале, к вечерним письмам не относится, но этого (как я выразился: спокойного) беспокойства, раз уж оно возникло, им тоже не унять. Как хорошо, что мы увидимся. Наверное, я телеграфирую тебе завтра или послезавтра (Оттла уже сегодня пошла за паспортом), сумею ли еще в эту субботу приехать в Гмюнд (для Вены на этой неделе так или иначе уже поздно, ведь билет на воскресный скорый поезд надо покупать заблаговременно), ты ответишь мне тоже по телеграфу, приедешь ли. В любом случае я вечером пойду на почту, чтобы ты поскорее получила телеграмму. Сделаем так: если я телеграфирую «Невозможно» – значит, на этой неделе приехать не смогу. Тогда я не стану ждать телеграфного ответа, и все остальное мы обсудим письмом (следующие четыре недели встреча, конечно, зависит от того, куда именно за город ты поедешь, возможно, слишком далеко от меня, ну а тогда мы, наверное, целый месяц не увидимся). Или же я телеграфирую: «Субботу могу быть Гмюнде». В этом случае жду ответа: либо «Невозможно», либо «Субботу могу быть Гмюнде». В обоих последних случаях, стало быть, все договорено, никаких других телеграмм не требуется (нет, чтобы ты не сомневалась, что твоя телеграмма получена, я пошлю подтверждение), мы оба едем в Гмюнд и увидимся еще в эту субботу или в воскресенье. Звучит все это очень просто.

Почти два часа потеряны, пришлось отложить письмо. Здесь был Отто Пик.[99] Я устал. Когда же мы увидимся? Почему за полтора часа всего-то раза три услышал твое имя? Где ты? На пути в деревню, где находится хижина? Я тоже в пути, и путь этот долог. Только не терзай себя из-за этого, пожалуйста, так или иначе, мы в пути, а больше чем уехать все равно невозможно.

Вторник

Где же врач? Я обыскал все письмо, не читая его, только чтобы найти врача. Где он?

Я совсем не сплю: это не значит, что я из-за этого не сплю, немusыкального человека настоящие заботы усыпляют скорее, чем что-либо другое, но все-таки я не сплю. Отчего? Слишком много времени прошло с тех пор, как я ездил в Вену? Или я переусердствовал, славословя свое счастье? Молока, масла и салата мне уже мало и нужна иная пища – твое присутствие? Вполне возможно, что причины тут совсем другие, но дни мои нелегки. К тому же вот уже три дня я лишен такого счастья, как пустая квартира, я живу у своих (потому и телеграмму сразу получил).

Может быть, на меня так благотворно действует вовсе не пустынность квартиры – или не исключительно она, – а сама возможность располагать двумя квартирами: одной для жизни днем, а другой, на отдалении, для вечеров и ночей. Тебе это понятно? Мне – нет, но это так.

Да, насчет шкафа. Похоже, что он будет причиной нашей первой и последней размолвки. Я скажу: «Мы его вышвырнем». Ты скажешь: «Нет, оставим». Я: «Или он, или я. Выбирай». Ты: «Сейчас. Шкаф, Кафка – тут есть созвучие. Выбираю шкаф». – «Хорошо», – скажу я, медленно спущусь по лестнице (по которой?) и – если не найду сразу Дунайского канала, буду жить и посейчас.

А в остальном я очень даже за этот шкаф, только то платье не надевай. Ведь совсем его износишь, а что я тогда буду делать?

Странно, могила. Ведь я искал как раз (vlastne) на том месте, но лишь робко, зато очень уверенно делал все большие и в конце концов огромные круги, а в результате остановил выбор на совершенно не той часовне.

Стало быть, ты уезжаешь и визы у тебя тоже нет. И уверенность, что при необходимости ты сразу приедешь, таким образом утрачена. А ты еще хочешь, чтобы я спал. А врач? Где он? Его по-прежнему нет?

Специальных марок в честь конгресса не было, я тоже думал, что такие были. К моему разочарованию, мне нынче принесли «конгрессные марки», оказалось – самые обыкновенные, только со штемпелем конгресса; но из-за этого штемпеля они наверняка все равно довольно ценные, хотя мальчик-то этого не поймет. Буду всякий раз вкладывать в конверт по одной марке, во-первых, из-за их ценности, а во-вторых, чтобы каждый день получать благодарность.

Вот видишь, тебе нужна ручка, так почему же мы не использовали время в Вене с большей пользой? Почему, например, не остались подольше в канцелярском магазине, там было так красиво, и мы были так близко друг от друга.

Ты еще не читала шкафу эти глупые шутки? Я просто без памяти люблю почти все, что стоит в твоей комнате.

А врач?

Ты часто видишь филателиста? Вопрос вовсе не коварный, хотя и кажется таким. Когда плохо спишь, задаешь вопросы и сам не знаешь о чем. Хочется спрашивать вечно, ведь не спать и значит спрашивать; если б был ответ, был бы и сон.

А это заявление о неменяемости вообще-то штука скверная. Паспорт-то ты все-таки получила?

28 июля, Среда

Ты знаешь историю бегства Казановы из венецианской тюрьмы? Знаешь, конечно. Там мимоходом описывается самый ужасный вид заключения – в подземелье, в крошечном мраке, в сырости, на уровне лагуны, человек скорчился на узкой доске, вода доходит почти до ступней, а с приливом и в самом деле поднимается выше колен; но самое ужасное – это осатанелые водяные крысы, их писк ночью, скрежет, грызня (кажется, ему приходилось сражаться с ними за корку хлеба), и страшнее всего – то, что они все время ждут, когда человек обессилеет и свалится с доски. Знаешь, вот с таким же ощущением я читал твое письмо. Все так ужасно, непостижимо, а главное – так близко и так далеко, как собственное прошлое. И вот сидишь, скорчившись, наверху, осанке это не на пользу, ноги сводит судорогой, и ты трясешься от страха, а у тебя и дела-то всего, что смотреть на огромных черных крыс, а они тебя слепят в ночной тьме, и в конце концов ты уже не воображаешь, сидишь ли ты еще наверху или уже находишься среди них и пишишь, скаля узкую морду с острыми зубками. Ах, не пересказывай больше таких историй, приезжай ко мне, ну что ты, в самом деле, приезжай. А этих «зверюшек» я тебе дарю, но с условием, что ты их тут же прогонишь из дому.[101]

А о врачах уже и вообще речи нет? Ты же клятвенно заверяла, что пойдешь к врачу, а слово свое ты всегда держала. Раз не видишь больше крови, то и не идешь? Я не хочу говорить о себе, ты несравненно меня здоровее, я всегда буду только господином, которому надо поднести чемодан (что само по себе еще не указывает на место в табели о рангах, ибо тут сначала идет господин, подзывающий носильщика, потом сам носильщик, а потом уже господин, просящий поднести ему чемодан, потому что иначе он рухнет; когда я недавно – недавно! – шел с вокзала домой, служитель, несший мой чемодан, вдруг по собственному почину – я, кажется, и слова на эту тему не сказал, – принялся меня утешать: я, мол, наверняка зато разбираюсь в вещах, которые ему недоступны, а таскать чемоданы – вот это его дело, он к этому привычный и т. д.; лишь тогда мне пришли в голову мысли, на которые его речь была ответом – надо сказать, далеко не убедительным, – но внятно я их не высказывал), – так вот, я себя тут вовсе с тобой не сравниваю, но поневоле приходится думать и о своем состоянии, а чем больше думаешь, тем больше тревожишься, и ты должна пойти к врачу. Это было года три назад, никогда я не жаловался на легкие, никогда не уставал, ходить мог без конца и до пределов своих сил никогда при этом не доходил (чего не скажешь о моих мыслях – тут я на пределы натыкался постоянно), и вдруг где-то в августе – во всяком случае, была жара, прекрасная погода, и все было в порядке, кроме моей головы, – я на занятиях плаванием откашлялся и выплюнул что-то алое. Это было странно и даже интересно, правда? Я на секунду вперился в это пятно и тут же о нем позабыл. А потом это стало случаться все чаще, и вообще, стоило мне захотеть сплунуть, как появлялось алое пятно – словно по заказу. Уже стало даже не интересно, а скучно, и я снова об этом позабыл. Пойди я тогда сразу к врачу – что ж, возможно, все осталось бы точно в таком же положении, как и без врача, но тогда никто не знал о том, что у меня идет кровь, и никто не тревожился. А теперь кто-то тревожится, так что, пожалуйста, сходи к врачу.

Странно, что твой муж собирается написать мне то-то и то-то. Может, еще и побить меня, и задушить? Право, я этого не понимаю. Я тебе, разумеется, всецело верю, но для меня настолько невозможно себе это представить, что я совершенно ничего при этом не чувствую, как будто ты была сейчас со мной и вдруг сказала: «Вот в эту минуту я нахожусь в Вене, там страшный скандал и все такое». И мы бы оба посмотрели из окна в сторону Вены, и, разумеется, это ни в малейшей степени нас бы не задело. Но вот еще что: говоря о будущем, не забываешь ли ты иногда, что я еврей – jasne, nezapletene?[102] О, еврейство – опасная штука, даже и у ног твоих.

Среда

То, что ты пишешь по поводу моей поездки (sekas, az to Tobe bude nutne[103]), я лучше пропущу, во-первых, это уже устарело, во-вторых, причиняет боль, впрочем, здесь и оправдание, почему вечерние субботние и утренние воскресные письма были полны такого отчаяния. И в-третьих, мы ведь, возможно, уже в субботу увидимся. (Первую из трех телеграмм ты утром в понедельник, похоже, еще не получила, надеюсь, третья придет вовремя.)

Отчаяние по поводу письма отца я понимаю лишь постольку, поскольку всякое новое подтверждение таких долгих, страшно мучительных отношений снова приводит тебя в отчаяние. Ведь нового из этого письма не вычитаешь. Даже я, который не читал письма отца, не могу вычитать из него ничего нового. Оно сердечное и тираническое и убеждено, что должно быть тираническим, чтобы удовлетворить

сердцу. Подпись в самом деле мало что значит, она лишь представляет тирана, ведь сверху написано «lito» и «strasne smutne».[104] этим все упраздняется.

Между прочим, возможно, тебя пугает несоответствие между твоим письмом и его, ну, твоего письма я не знаю, но все ж таки, с другой стороны, мне приходит на ум несоответствие между его «естественной» готовностью и твоим «непонятым» упрямством.

Ты сомневаешься насчет ответа? Или, вернее, сомневалась, ведь ты пишешь, что теперь уже знаешь, каков будет твой ответ. Это странно. Если б ты уже ответила и спросила меня: «Что я ответила?» – я бы без малейшего промедления сказал, что именно ты, по-моему, ответила.

Конечно, вне всякого сомнения, для твоего отца нет никакой разницы между твоим мужем и мною, для этого европейца мы, как негры, на одно лицо; но не говоря уж о том, что ты сейчас не можешь сказать об этом ничего определенного, зачем нужно вставлять это в ответное письмо? И зачем нужно врать?

По-моему, ты можешь написать в ответ только то, что непременно сказал бы твоему отцу, заговори он о тебе в таком тоне, человек, который, не видя почти ничего другого, с напряжением и трепетом душевным следит за твоей жизнью: «Все „предложения“, все „определенные твердые условия“ бессмысленны, Милена живет своей жизнью и иначе жить не сможет. Жизнь у Милены хотя и печальная, но все же не менее „здоровая и спокойная“, чем в санатории. Милена просит только, чтобы вы наконец это поняли, больше она не просит ни о чем, в особенности о каких-либо „улаживаниях“ даже речи нет. Она просит только, чтобы вы не стремились судорожно от нее отгородиться, а последовали вашему сердцу и поговорили с нею как человек, как равный с равным. Поступив так, вы устраните из жизни Милены очень много „печали“ и вам не придется больше ее „жалеть“».

Что ты имеешь в виду, когда пишешь, что ответ отцу придется на твой день рождения? Я в самом деле начинаю опасаться за этот день рождения. Увидимся ли мы в субботу или нет, непременно телеграфируй мне вечером 10 августа.

Если б ты все же могла быть в Гмюнде в субботу или хоть в воскресенье!

Это в самом деле крайне необходимо.

Тогда это было бы последнее письмо, которое ты получишь прежде, чем мы встретимся лицом к лицу. И мои уже, собственно, целый месяц незанятые глаза (ну конечно, чтение писем, гляденье в окно) увидят тебя.

По-чешски статья куда лучше, чем по-немецки, конечно, кой-какие недочеты есть, вернее, она напоминает болото – идешь, с трудом вытаскивая ноги. Намедни один из читателей «Трибуны» сказал мне, что я, должно быть, провел солидные изыскания в сумасшедшем доме. «Только в собственном», – ответил я, после чего он попытался сделать мне комплимент по поводу «собственного сумасшедшего дома». (Две-три мелкие ошибки в переводе есть.)

Среда, вечер

Сейчас, около 10 вечера, я был в бюро, телеграмма пришла, да так скоро, я чуть не усомнился, что это ответ на мою вчерашнюю телеграмму, но там написано: отправлено 4. VIII, в 11 часов утра. Она пришла еще в 7, то есть всего за восемь часов. Одно из утешений, которое добавляется к самой телеграмме, – географически мы все-таки достаточно близко друг от друга: меньше чем за сутки я могу получить твой ответ. И не всегда же этот ответ будет: не езд.

Как-никак, крохотная возможность остается: может быть, ты еще не получила моего письма, где я объясняю, что тебе не придется отлучаться из Вены даже на одну ночь и все-таки можно приехать в Гмюнд. Но ты ведь, наверное, и сама уже это выяснила. Как бы там ни было, я по-прежнему размышляю о том, стоит ли мне в расчете на эту крохотную возможность взять на тридцать дней (твой отпуск) визу и на всякий случай заказать билет на скорый поезд. Пожалуй, я не стану этого делать, телеграмма так категорична, у тебя совершенно непреодолимые сомнения насчет этой поездки. Как видишь, Милена, ничего страшного, я бы и сам не отважился на деятельное желание (кстати, потому только, что не догадался бы, насколько проста возможность встречи) увидеть тебя «уже» через четыре недели; если б мы встретились, я был бы обязан этим исключительно тебе, вот почему (не говоря о том, что, если ты не приедешь, значит, так и должно быть, я знаю) ты имеешь полное право вычеркнуть эту тобою же и созданную возможность, об этом и писать-то незачем, просто я с такой радостью прокладывал эту узкую дорожку из темной квартиры к тебе и мало-помалу все, что я есть, оказалось брошено в этот, быть может (опротечивость тотчас перебивает: конечно! конечно! конечно!), ведущий к тебе ход, а он вдруг, вместо того чтобы вывести к тебе, упирается в непроницаемую скалу «пожалуйста-не-приезжай», и волей-неволей приходится той же дорогой, которая так быстро была проложена, медленно возвращаться обратно и засыпать ее всем тем, что я есть. В общем, это довольно болезненно, но вряд ли совсем уж плохо, коль скоро хватает сил так подробно об этом писать. В конце концов появятся новые ходы, старый крот привычен копать.

Куда хуже другое: по причинам, которые я, кажется, вчера обозначил, наша встреча была бы очень важна. В этом смысле ее ничем не заменишь, собственно, потому-то я и огорчился из-за телеграммы. Но, как знать, вдруг в твоём послезавтрашнем письме найдется утешение.[105]

У меня только одна просьба: в твоём сегодняшнем письме есть две очень жесткие фразы. Первая (a Ty neprijedes, ponevadz cekas, az to Tobe jednou bude nutne, to, abys prijel,[106]) еще кое-как оправданна, но далеко не целиком, вторая (Mej se pekne, Franku[107] а затем следует, чтобы ты слышала звучание всей фразы: Telegrafovat Ti ten falesny telegram nema tedy smyslu, neposlam ho.[108] Зачем же ты все-таки ее отправила), это «Mej se pekne, Franku» не имеет вообще никакого оправдания. Такие вот фразы. Не могла бы ты, Милена, каким-нибудь образом взять их обратно, вполне однозначно взять обратно, первую, если угодно, отчасти, а вторую целиком?

Письмо отца я сегодня утром забыл вложить в конверт, прости. Кстати, я вдобавок упустил из виду, что это первое письмо за три года, теперь только я понимаю, как оно на тебя подействовало. Но в силу этого, между прочим, и твое письмо к отцу становится намного

значительнее, в нем, наверное, было что-то принципиально новое.

Да, в твоём письме есть и третья фраза, которая пожалуй, направлена против меня ещё больше, чем две упомянутые выше. Фраза о вредных для желудка сладостях.

29 июля, Четверг

Прекрасная записка, та, что от Стаси. Но нельзя сказать, чтобы в этой тогдашней записке она была не такая, как сейчас, в записке её просто нет, она говорит за тебя, невероятное слияние между нею и тобой, почти нечто духовное, словно бы кто-то, сам почти невозмутимый, ибо не смеет быть больше чем посредником, пересказывает услышанное, и притом – сознание этого здесь присутствует и составляет гордость и красоту целого – услышать это и понять сподобился только он один. Но она, по-моему, совершенно такая же, как тогда; подобную записку она бы, наверное, могла написать и сегодня, если ли бы сложились сходные обстоятельства.

Странное дело с этими историями, что ты мне рассказала. Они угнетают меня не потому, что они «про евреев» и что всякому еврею, уж коль скоро общий котел поставлен на стол, приходится хлебать свою долю этого отвратительного, ядовитого, но и древнего и, в общем-то, вечного поила, – совсем не оттого они меня угнетают. Ах, не протянешь ли ты мне сейчас поверх них руку, чтоб я долго, долго держал её в своей?

Вчера я разыскал наконец могилу.[75] Когда ищешь её робко, то её и в самом деле невозможно найти, я ведь не знал, что это могила твоих родственников по материнской линии, да и прочесть надписи можно, только если внимательно к ним наклоняться, – золото почти совсем осыпалось. Я долго стоял там, могила очень красивая, такая несокрушимо-каменная, правда, совсем без цветов, но к чему это обилие цветов на могилах, я никогда этого не мог взять в толк. Несколько разноцветных гвоздик я положил на самый краешек края. На кладбище мне было много лучше, чем в городе, и ощущение это долго сохранялось, по городу я шел, как по кладбищу.

Еничек – это твой младший брат?

Вправду ли ты здорова? На карточке из Ной-Вальдегга ты выглядишь явно больной, там это, конечно, преувеличено, но все-таки лишь преувеличено. Настоящей твоей фотографии я так и не имею. На одной стоит аристократически утонченная, хрупкая, опрятная девочка, которую уже совсем скоро, через год-два, заберут из монастырского пансиона (уголки губ, правда, слегка поникли, но это лишь от утонченности и набожной кротости), а вторую фотографию хоть сейчас на пропагандистский плакат: «Вот как нынче живут в Вене». Между прочим, на этой второй фотографии ты опять ужасно напоминаешь мне моего загадочного первого друга; когда-нибудь я тебе о нем расскажу.

А в Вену я не приеду, нет; внешне для этого понадобились бы либо откровенная ложь (сказаться на службе больным), либо два выходных дня подряд. Но это ещё только внешние препятствия, дружище (это я сам с собой говорю).[76]

Телеграмма! Спасибо, спасибо, беру все упреки назад; да то были и не упреки вовсе – та же ласка, только гладил я на этот раз не ладонью, а тыльной стороной, потому что она давно уже вся иззавидовалась. – Ко мне опять заходил тот молодой поэт и график (но главным образом он музыкант),[77] он заходит постоянно, сегодня он принес две гравюры (на одной Троцкий, на другой Благовещение – как видишь, его мир не узок); чтобы сделать приятное ему и себе, я быстро перекинул ниточку к тебе, сказав, что pošлю их своему другу в Вену; правда, непредвиденным следствием было то, что я вместо одного получил по два экземпляра каждой гравюры (твои я сохраню здесь – или ты хочешь получить их сразу?). Ну а потом пришла телеграмма; пока я её читал и читал и не мог начитать, переполненный радостью и благодарностью, он продолжал болтать как ни в чем не бывало (при этом он вовсе не намерен мешать, о нет; скажи я, что у меня есть дела, и скажи я это громко, чтобы он очнулся, он оборвет себя на полуслове и убежит, нисколько не обижаясь). Само по себе известие очень важно, но подробности должны быть ещё важнее. И прежде всего: как это ты должна «себя щадить», это же невозможно; по мне, большей бессмыслицы врач, а сказать не мог. Ах, плохо это все; но, во всяком случае, – спасибо тебе, спасибо.

Четверг, чуть позже

Итак, чтоб не оставалось никаких сомнений, Милена.

Возможно, нынешнее мое состояние и не таково, что лучше не бывает; возможно, я вынес бы и ещё больше счастья, и защищенности, и полноты – хотя вовсе в этом не уверен, тем более здесь, в Праге, – но, как бы то ни было, в целом мне хорошо, и радостно, и вольно – совершенно незаслуженно хорошо, так хорошо, что даже страшно становится, – и если такие условия хоть немного продержатся без особых срывов, если я ежедневно буду получать от тебя хоть слово и чувствовать по нему, что ты не вконец замучена, то, может быть, уже этого будет достаточно, не мучь себя больше; а физику я никогда не понимал (разве что про «столб пламени» мне понятно – это ведь физика, да?), и vaňa sveta[85] я тоже не понимаю, а они меня наверняка и того меньше (да и что делать таким неизмеримо огромным весам с моими 55 килограммами в голом виде, они их попросту не заметят и потому наверняка даже не шелохнутся), и я тут точно такой же, каким был в Вене, и твоя рука покоится в моей, пока ты её не отнимешь.

Стихотворение Верфеля как портрет, который смотрит на каждого, в том числе и на меня, а главное, на злодея, который его вдобавок ещё и написал.

Твое замечание по поводу отпуска я не совсем понимаю. Куда ты хотела бы поехать?

30 июля, Пятница

Тебе непременно надо знать, Милена, люблю ли я тебя, ты снова и снова задаешь мне этот трудный вопрос, но как на него ответить в письме (будь это даже и последнее воскресное письмо)? Вот когда мы вскоре увидимся, я тебе наверняка это скажу (если не откажет голос).

Только не пиши больше о поездке в Вену; я не приеду, но каждым упоминанием об этом ты словно подносишь язычок пламени к моей

оголенной коже, пламя уже превратилось в маленький костер, он не затушает, а горит ровно, да нет, даже разгорается.

Этих цветов, что ты получила, мне очень жаль. От жалости я даже не смог разобрать, что это за цветы. Они, стало быть, стоят в твоей комнате. Будь я в самом деле шкафом, я бы среди бела дня взял и выдвинулся прочь из комнаты. Так и стоял бы в прихожей – по крайней мере до тех пор, пока они не завянут. Нет, это нехорошо. И все так далеко – хотя ручка твоей двери так же близко у меня перед глазами, как вот эта чернильница.

Конечно, у меня есть твоя вчерашняя, нет, позавчерашняя телеграмма, но цветы и тогда еще стояли живые. А почему ты им рада? Если это твои «самые любимые», тогда ты должна радоваться всем вообще подобным цветам на земле – почему же именно этим? Но, может быть, это тоже слишком трудный вопрос, и ответить на него можно только устно. Да, но где ты? В Вене? А где это – Вена?

Не могу отвязаться от этих цветов. Кернтнерштрассе – ах, это уже что-то призрачное, сон, мечта, пригрезившаяся ночным днем, – а цветы реальны, они заполнили всю вазу (ты говоришь: *mate*[82] – и прижимаешь их к груди), дотронуться до них нельзя, ведь это твои «самые любимые». Ну подождите, вот выйдет Милена из комнаты, я вас схвачу и вышвырну во двор.

Отчего ты печальна? Что-нибудь случилось? И ты мне ничего не говоришь? Нет, это невозможно.[83]

Ты спрашиваешь о Максе, но он же давно тебе ответил, я, правда, не знаю что, но в воскресенье он при мне опустил письмо. А мое-то воскресное письмо ты получила?

Вчера был крайне беспокойный день, не мучительно беспокойный, а просто беспокойный, – может быть, в следующий раз я об этом расскажу. Главное – что у меня в кармане была твоя телеграмма: ходить с ней – это совершенно особое чувство. Существует особая человеческая доброта, о которой люди не подозревают. Например, идешь по направлению к Чешскому мосту, вытаскиваешь по дороге телеграмму и читаешь (слова ее всегда внове; прочтешь их, впитаешь в себя – бумага пуста; но, как только сунешь ее в карман, она опять быстро-быстро заполняется словами). Тут ты оглядываешься и ожидаешь увидеть сердитые мины, в них не зависть, нет, но все-таки на этих лицах написано: «Как? Именно тебе пришла эта телеграмма? Об этом надо срочно сообщить наверх. Пусть хотя бы незамедлительно будут посланы в Вену цветы (охапка). Во всяком случае, мы это дело с телеграммой так не оставим». Но ничего подобного, куда ни глянь, все спокойно, удильщики продолжают удить рыбу, зеваки продолжают таращить на них глаза, дети играют в футбол, нищий у входа на мост собирает крейцеры. Конечно, если приглядеться внимательней, во всем этом есть какая-то нервозность, люди принуждают себя продолжать свои занятия, чтобы не выдать своих мыслей. Но именно то, что они себя принуждают, очень трогательно с их стороны, – будто отовсюду слышится голос: «Все верно, телеграмма принадлежит тебе, мы согласны, мы не собираемся выяснять, имел ли ты право ее получить, мы закрываем на это глаза, можешь себе ее оставить». И когда я минуту спустя вытаскиваю ее снова, сначала возникает опасение, что они все-таки рассердятся, – мол, чего это я хотя бы не стушевался и не спрятался, – но нет, они не сердятся, как были, так и есть.[84]

Вечером я снова беседовал с одним палестинским евреем, объяснить это в письме невозможно (я имею в виду важность этого разговора для меня), – маленький, почти крошечный, щуплый, бородатый, одноглазый человек. Но он обошелся мне в добрых полночи – все вспоминался. В следующий раз расскажу подробней.

Стало быть, паспорта у тебя нет и возможности получить его – тоже?

31 июля, Суббота

Я огорчен и расстроен – потерял твою телеграмму; она, конечно, не могла совсем потеряться, но уже одно то, что приходится ее искать, выбивает меня из колеи. Между прочим, это все ты виновата: не будь она такой прекрасной, я бы не вертел ее без конца в руках.

Лишь одно меня утешает – то, что ты написала про врача. Стало быть, кровотечение ничего не значило; что ж, я ведь так и предполагал – в медицине я травленный волк. А что он говорит о повреждении в легких? Голодовки и таскания чемоданов он наверняка тебе не прописал. А с тем, чтобы ты и впредь была добра ко мне, он согласился? Или обо мне вообще не было речи? Да, но как я могу тогда всем этим удовлетвориться, если врач не обнаружил ни малейшего моего следа? Или обнаруженное им повреждение в легких – это мой дефект?

Так в самом деле нет ничего серьезного? И единственное, что ему пришло в голову, – это отослать тебя на месяц в деревню? Не так уж и много.

Но против самой поездки в деревню я ничего не имею – во всяком случае, не намного больше, чем против жизни в Вене. Поезжай, пожалуйста, поезжай. Ты как-то писала о надеждах, которые возлагаешь на такую поездку; для меня этого достаточно, чтобы желать ее.

Теперь – еще раз – о моем приезде в Вену. Когда ты пишешь об этом всерьез, это хуже всего – тогда почва здесь в самом деле начинает колебаться, и я с трепетом жду, когда она меня вышвырнет. Не вышвыривает. О внешнем препятствии (о внутренних не говорю: хоть они и сильнее, они бы меня не удержали, не потому что я сам силен, а потому что слишком слаб, чтобы позволить им удержать себя) я уже писал, для этой поездки мне пришлось бы прибегнуть к лжи, а лжи я боюсь, не как честный человек, а как ученик. Кроме того, есть у меня такое чувство – или по крайней мере предчувствие, – что однажды мне, ради ли себя самого, ради ли тебя, непременно, неизбежно придется ехать в Вену, а во второй раз я не смогу солгать даже и как шалопай ученик. Эта возможность будущей лжи – мой резерв, им я живу, равно как и твоим обещанием при необходимости сразу же приехать. Потому-то я и не приеду сейчас; вместо реальности этих двух дней (пожалуйста, не живописуй их, Милена, это почти пытка для меня – еще не нужда, но беспредельная жажда) – вместо реальности этих двух дней я располагаю их постоянно длящейся возможностью.

А цветы? Они, конечно, уже завяли? С тобой случалось когда-нибудь, чтобы цветы попадали «не в то горло», как мне эти? Ужасно неприятное ощущение.

В твой спор с Максом я не вмешиваюсь. Стою в стороне, признаю за каждым его правоту и чувствую себя будто в укрытии. Ты,

бесспорно, права во всех своих рассуждениях, но теперь попробуй встать на его место. У тебя есть родина, и ты вольна ею пренебречь (возможно, это и самое лучшее, что можно с нею сделать, — особенно если учесть, что тем, что в ней пренебрежимо, пренебречь все равно невозможно). А у него родины нет и потому нечем пренебрегать, и он все время должен думать о том, как бы ее найти и построить, — все время: снимает ли он шляпу с гвоздя, лежит ли на солнце в бассейне или пишет книгу, которую ты будешь переводить (тут он, наверное, еще менее всего взвинчен — но ты-то, бедная, любимая моя, какую работу ты взвалила на себя из чувства вины, я вижу тебя склоненной над этой работой, шея приоткрылась, я стою за тобой, а ты и не подозреваешь, — пожалуйста, не пугайся, если почувствуешь прикосновение моих губ, то не поцелуй, то лишь беспомощная моя любовь), — ах да, Макс, все время он должен об этом думать, даже когда пишет тебе.

И вот что странно: в целом справедливо против него обороняясь, ты в частности ему поддаешься. Он явно писал тебе о моей жизни с родителями и о Давосе. Все это не так. Конечно, жить вместе с родителями — это очень плохо, причем плохо тут не только проживание бок о бок, но и вся жизнь, само погружение в этот круг доброты и любви (ах да, ты не знаешь моего письма к отцу), трепыхание мухи на липучке, — но, между прочим, в этом есть и свои очевидные преимущества, один сражается под Марафоном, другой за обеденным столом, бог войны и богиня победы царят повсюду. К тому же просто так, механически взять и переселиться — какой в этом смысл, особенно если продолжать обедать дома, что сейчас для меня, конечно же, самое лучшее. А о Давосе поговорим в следующий раз. Если что мне и нужно от Давоса, так это возможность получить поцелуй при отъезде.

2 августа, Понедельник, вечером

Уже поздно, день был несколько сумрачный, несмотря ни на что. Завтра письма от тебя скорее всего не будет; субботнее я уже получил, воскресное дойдет только послезавтра, — стало быть, мне предстоит день, свободный от непосредственного воздействия твоего письма. Странно, как меня ослепляют твои письма, Милена. Ведь я уже целую неделю или того дольше чувствую, что с тобой что-то случилось, что-то внезапное или постепенно назревавшее, что-то серьезное или случайное, ясно или только наполовину осознаваемое; но оно случилось, я знаю. Я это вижу даже не из деталей твоих писем, хотя такие детали и есть — например, то, что письма полны воспоминаний (и совсем особенных воспоминаний); что хотя ты, как обычно, отвечаешь на все, однако же и не на все; что ты печальна без причины; что ты отсылаешь меня в Давос; что ты вдруг так настаиваешь на этой встрече (а ведь мой совет не приезжать сюда ты приняла сразу; ты заявила, что Вена не подходит для такой встречи; ты сказала, что до твоей поездки лучше нам не встречаться, — и вдруг, в последних двух-трех письмах, такая спешка. Мне бы этому радоваться и радоваться, да вот не могу, потому что чувствую в твоих письмах какой-то потаенный страх, то ли за меня, то ли передо мной — не знаю, но в той внезапности, в той поспешности, с которой ты настаиваешь на встрече, таится страх. Но, во всяком случае, я рад, что нашел возможность, она есть, это уж точно. Если ты не сможешь остаться здесь на ночь, то можно и это устроить — ну, пожертвуем несколькими совместно проведенными часами. Ты выедешь тогда часов в 7 утра воскресным скорым поездом на Гмюнд — как я тогда, — приедешь туда в 10 часов, я буду тебя ждать, а поскольку мой обратный поезд отходит только в полпятого, у нас будут как-никак шесть часов. Ты вернешься вечерним скорым поездом в Вену и будешь там в четверть двенадцатого — небольшая воскресная прогулка).

В общем, все это меня беспокоит, а вернее говоря, не беспокоит — так велика твоя власть надо мной. Вместо того чтоб быть беспокойнее беспокойного — поскольку ты в письмах о чем-то умалчиваешь, — вместо того чтобы обеспокоиться еще больше, я сохраняю спокойствие, так велика моя вера в тебя, независимо от того, как ты выглядишь. Если ты о чем-то умалчиваешь, значит, думаю я, так и надо.

Но я остаюсь спокойным еще и по другой, уж совершенно необыкновенной причине. У тебя есть свойство — я думаю, оно коренится в самых глубинах твоего существа, и если не по отношению ко всем оно проявляется, это только их вина, — свойство, которого я ни в ком другом больше не находил и которое я, хоть и нашел его здесь, все-таки с трудом могу вообще себе представить. Оно в том, что ты не можешь заставить человека страдать. И ты вовсе не из сострадания не заставляешь страдать, а просто потому, что не можешь.

Нет, это почти фантастика: чуть ли не целый день я думал об этом, а вот написать не решаюсь, — может быть, все это только более или менее витиеватое извинение за объятие.

А теперь — спать! Что, интересно, ты сейчас делаешь, в понедельник около 11 вечера?

6 августа, Пятница

Итак, тебе плохо, как никогда еще не было за все то время, что я тебя знаю. И это непреодолимое расстояние меж нами вместе с твоей болезнью вселяет в меня странное чувство, будто я нахожусь в твоей комнате, но ты меня лишь смутно различаешь, а я потерянно брожу от окна к постели и обратно, и никому и ничему не верю, никакому врачу, никакому лечению, и не знаю, что делать, и только смотрю на это хмурое небо, что долгие годы будто все шутило и шутило, а теперь впервые открылось мне во всей своей безысходности, такое же потерянное, как я сам. Ты лежишь в постели? А кто приносит тебе еду? Какую? И эти головные боли! Напиши мне про все, когда сможешь. У меня был когда-то друг актер, еврей из Восточной Европы, с ним через каждые три месяца случались жуткие приступы головной боли и продолжались несколько дней; вообще-то он был вполне здоров, но в эти дни, бывало, прислонится к стенке на улице и стоит, и ничем ему не поможешь — только ходишь минут тридцать взад и вперед и ждешь. Больной покинут здоровым, но и здоровый больным — тоже. А боли возвращаются регулярно? И что говорит врач? Когда они начались? Теперь ты небось еще и таблетки глотаешь? Ай-яй-яй! — а вот «детка» я уже сказать не могу, не имею права.

Обидно, что твой отъезд снова отсрочился, теперь ты, стало быть, уедешь только через неделю, считая с четверга. А я — я уже не буду иметь счастья видеть, как ты оживаешь там в окружении озер, лесов и гор. Но сколько же мне еще надо счастья, жадине такому? Обидно, что тебе еще так долго придется мучиться в Вене.

О Давосе мы еще поговорим. Не хочу я туда — слишком далеко, слишком дорого и слишком бесполезно. Если уж уезжать из Праги — а уезжать, похоже, придется, — то лучше всего куда-нибудь в деревню. Правда, так меня там и ждали. Надо еще все это продумать, но до ноября я ведь все равно не смогу уехать.

Вчера вечером я встретил некоего Штайна, [109] может тебе по кофейням, его всегда сравнивали с королем Альфонсом. Он теперь составляет бумаги у одного адвоката и, встретив меня, очень обрадовался: у него есть ко мне разговор, по службе, все равно пришлось бы завтра звонить мне по телефону. «Ну, так о чем идет речь?» – «Дело о разводе, в котором я тоже отчасти замешан, то есть он просит меня вмешаться». – «Как это?» Я в самом деле схватился за сердце. Но потом выяснилось, что речь идет о разводе родителей одного поэта и что мать, с которой я незнаком, попросила его, д-ра Штайна, чтобы я немного повлиял на поэта, ведь ему бы следовало лучше относиться к ней, к матери, и не бранить ее так.

Кстати, странный брак. Представь себе. Жена уже раз была замужем; в этом первом браке у нее родился ребенок от теперешнего ее мужа, а именно упомянутый поэт. Стало быть, он носит фамилию первого ее мужа, а не своего отца. Потом они все-таки поженились и после многих лет по настоянию мужа, отца поэта, опять развелись. А поскольку эта женщина при нынешней нехватке жилья не может найти себе квартиру, они, только по этой причине, продолжают жить в браке, причем эта супружеская жизнь (из-за нехватки жилья) ничуть не примирила мужа с нею и тем паче не заставила его отказаться от развода. Все-таки мы до смешного бедные люди, верно? Мужа я знаю, он человек добрый, разумный, очень дельный, уживчивый.

Список того, что тебе нужно, конечно же, пришли, чем длиннее, тем лучше, ведь в каждую книгу, в каждую желаемую тобой вещь я заползу, чтобы вместе с нею отправиться в Вену (против такой поездки директор ничего не имеет), так что предоставь мне как можно больше возможностей поехать к тебе. А статьи, уже напечатанные в «Трибуне», можешь прислать мне на время.

Между прочим, я почти рад твоему отпуску – если не считать плохой почтовой связи. Ты ведь мне опишешь кратко, как все там выглядит? Твоя жизнь, твоя комната, твои тропинки, вид из окна, еда – чтобы я тоже немножко пожил с тобою.

7 августа, Суббота

Я так мил и терпелив – в самом деле? Не знаю, не знаю; знаю только, что от такой телеграммы легчает как бы во всем теле, – а ведь всего лишь телеграмма, не протянутая рука.

Но и печально звучит она, устало – голос из больной постели. Грустно все это. И письма не пришло, опять целый день без письма; похоже, что тебе все-таки очень плохо. Кто поручится мне, что ты подавала телеграмму сама, – что ты не лежишь целый день в постели, наверху, в той комнате, в которой я живу теперь больше, чем в своей собственной.

Сегодня ночью я из-за тебя совершил убийство – безумный сон, дурная, дурная ночь. Подробности едва ли даже и помню.

Письмо все-таки пришло. Из него-то уж все ясно. Правда, в других было не меньше ясности, но пробиться к их ясности я не решался. Впрочем, разве ты могла солгать? Этот чистый лоб – он не лжет.

Макса я не виню. Конечно, что бы он там ни писал в своем письме, все было неправильно: ничто и никто, никакой, даже самый лучший человек не должен вставать между нами, из-за этого я и совершил убийство сегодня ночью. Какой-то родственник сказал в разговоре – смысла его я не помню, но примерно речь шла о том, что кто-то чего-то не сумеет сделать, – какой-то родственник, стало быть, сказал в заключение иронически: «Зато уж Милена, конечно, сумеет». За это я его каким-то образом убил, возбужденный вернулся потом домой, мать все время бегала за мной, разговор и тут шел о том же, в конце концов я заорал, клокоча от ярости: «Если кто-нибудь скажет плохо о Милене, например отец (мой отец), я и его убью – либо его, либо себя». Тут я проснулся – но это не было ни сном, ни пробуждением.

Снова я возвращаюсь к прежним письмам, в сущности, они были похожи на то письмо девушке. А вечерние письма были не что иное, как боль по утренним. И – однажды вечером ты написала, что все возможно, только вот чтоб я тебя потерял – невозможно, – требовался, собственно, лишь легкий нажим, и невозможное свершилось бы. А быть может, этот нажим даже и был, и, быть может, удался.

Во всяком случае, это твое письмо – как роздых, ведь под прежними я был погребен заживо и все же старался лежать как можно тише, потому что думал – а вдруг я и вправду мертв.

Честно говоря, все это меня не так уж и поразило, я этого ждал, я, как мог, готовился это вынести, когда оно придет; и вот оно пришло, и, конечно же, я все еще не готов, хотя вконец оно меня и не подкосило. Но то, что ты пишешь о твоем положении вообще и о твоем самочувствии, совершенно ужасно – и много сильнее меня. Ну, об этом мы поговорим, когда ты вернешься из санатория, – а вдруг там и в самом деле свершится чудо, по крайней мере физическое чудо, тобой ожидаемое; я, кстати говоря, настолько полон веры в тебя, что и не желаю никакого чуда, – я тебя, о чудесная, поруганная, недоступная поруганию природа, спокойно вверяю лесу, озеру и диете; вот только б не было остального.

Когда я снова и снова возвращаюсь мыслями к твоему письму – пока всего только раз прочитав его, – когда думаю о том, что ты пишешь о своем настоящем и будущем, о своем отце, обо мне, то в конечном счете все сводится именно к тому, что я уже сказал тебе однажды с великолепной ясностью: истинное твое несчастье – я, я и никто другой (причем – оговорюсь – лишь внешнее несчастье); ведь не будь меня, ты бы, возможно, уже месяца три назад уехала из Вены, а если не три месяца назад, то уж сейчас наверняка. Ты не хочешь уезжать из Вены, я знаю, ты и без меня не хотела бы, но именно поэтому – глядя уже как бы совсем с птичьего полета, можно усмотреть мое значение для мира твоих чувств в том, что я облегчаю тебе возможность оставаться в Вене.

Но к чему заходить так далеко и вдаваться в столь сложные тонкости – достаточно ограничиться одним очевидным рассуждением: ты уже оставляла однажды своего мужа и тем легче могла бы оставить его сейчас, когда обстоятельства давят много сильнее, – но, конечно, ты оставила бы его только ради того, чтобы оставить, а не ради какого-то еще другого человека.

Но все эти рассуждения ни к чему не ведут – разве что к большей открытости.

Эти вещи я, конечно, с радостью обеспечу. Только, по-моему, лучше бы купить трико в Вене, ведь для него, должно быть, понадобится разрешение на вывоз (недавно у меня на почте даже книги не приняли без разрешения на вывоз, хотя в соседнем почтовом отделении их потом спокойно приняли), впрочем, наверное, в магазине знают, что нужно делать. Деньги я постоянно буду понемногу прилагать к

письмам. Если ты скажешь «довольно», я сразу прекращу.

Спасибо за позволение читать «Трибуну». Намедни, в воскресенье, я видел одну девушку, которая на Вацлавской площади покупала «Трибуну», наверняка же только ради заметок о модах. Одетая она была не очень хорошо, пока не очень. Жаль, я ее не запомнил и не могу проследить за ее развитием. Нет, ты не права, что так низко ценишь свои заметки о модах. Я вправду тебе благодарен, что можно теперь читать их открыто (втайне я ведь подлым образом уже не раз их читал).

Суббота

Я ведь знал, что будет в этом письме, все это стояло почти за всеми твоими письмами, было в твоих глазах, – могло ли что-то остаться нераспознанным в их ясных глубинах? – было в складках на твоём лбу, все это я ведь знал; так человек, что весь день провел за закрытыми ставнями, погруженный то ли в сон, то ли в грезу, то ли в страх, вечером распахивает окно и, понятное дело, нисколько не удивляется – ибо все уже знал, – что снаружи царит тьма, чудесная глубокая тьма. И я вижу, как ты терзаешься, и корчишься в тисках, и пытаешься вырваться, и – уж бросим факел в бочку с порохом! – никогда не вырвешься, я это вижу – и все же не могу сказать: «Оставайся там, где ты есть». Но я не могу сказать и обратного, я стою перед тобой, смотрю в твои милые бедные глаза (все-таки какая жалкая эта карточка, что ты мне прислала, одна мука смотреть на нее, мука, которой я подвергаю себя по сто раз на день, – и в то же время, увы, она достояние, которое я готов защищать против целой дюжины силачей) – и чувствую себя в самом деле сильным, ты права, некая сила во мне есть: если обозначить ее коротко и неясно, то это моя немзыкальность. Однако она опять-таки не настолько велика, чтобы я – по крайней мере сейчас, в эту минуту – мог продолжать письмо. Какой-то вал любви и муки подхватывает меня и уносит прочь от стола.

Ф.

8 августа, Воскресенье вечером

Одно сбивает меня с толку в твоей аргументации, в последнем письме это особенно ясно, тут несомненная логическая ошибка, можешь себя на ней проверить. Скажи ты мне, что ты слишком любишь своего мужа (а это чистая правда) и потому не можешь его оставить (не можешь уже ради меня самого, я хочу сказать: для меня было бы ужасно, если б ты на это все-таки решилась), – я тебе поверю и с тобой соглашусь. Скажи ты, что ты сама готова была бы его оставить, но он внутренне нуждается в тебе и не может без тебя жить, потому-то ты не можешь его оставить, – я и тут тебе поверю, и тут с тобой соглашусь. Но когда ты говоришь, что он внешне без тебя не справится с жизнью и что ты именно поэтому (как главная причина!) не можешь оставить его, то это говорится либо для сокрытия вышеназванных причин (именно для сокрытия, а не для подкрепления, ибо в подкреплениях такие причины не нужны) – либо же это одна из тех злых шуток мозга, о которых ты писала в последнем письме и от которых корчится в судорогах все наше тело, и не только тело.

9 августа

Суббота – нет, что я, понедельник пополудни (ты видишь, в голове у меня только субботы)

Я был бы лжецом, если б не решился сказать еще больше, чем в сегодняшнем утреннем письме, – лжецом особенно перед тобой, с которой я говорю так свободно, как ни с кем другим, потому что никто еще так меня не поддерживал – зная и прощая, – как ты, вопреки всему, вопреки всему (и не путай это столь весомое «вопреки всему» с твоим столь весомым «и все-таки!»).

Среди твоих писем всех прекрасней (и этим много сказано, поскольку они все вообще, чуть ли не в каждой строчке, самое прекрасное из всего, что со мной случилось в моей жизни) – итак, всех прекрасней среди них те, в которых ты оправдываешь мой «страх» и одновременно пытаешься внушить мне, что он неоправдан. Я ведь тоже, хоть, наверное, и произвожу порой впечатление подкупленного адвоката своего страха, в глубине души, кажется, искренне его оправдываю – я ведь целиком из него состою, и он, возможно, лучшее, что во мне есть. А поскольку он самое лучшее во мне, то, возможно, его-то единственно ты и любишь. Ведь что уж во мне такого особенного можно любить. А его – можно.

Вот ты спросила недавно, как мог я назвать «чудесной» нашу субботу[96] с этим страхом в сердце; объяснить это нетрудно. Поскольку я люблю тебя (а я тебя люблю, непонятливое ты существо, и как любит море крохотную гальку на своем дне, так и моя любовь затопляет тебя всю, – а для тебя такой галькой да буду я, если дозvoлят небеса) – поскольку я тебя люблю, я люблю весь мир, а весь мир – это и твое левое плечо – нет, сначала было правое, – и потому целую его, когда мне заблагорассудится (а ты, будь добра, чуть приспусти на нем блузку), – но и левое плечо тоже, и твое лицо над моим в лесу, и твое лицо под моим в лесу, и забвение на твоей полуобнаженной груди. И потому ты права, когда говоришь, что мы были тогда одно, и тут мне страх неведом, ведь это мое единственное счастье, моя единственная гордость – и я сейчас имею в виду не один только лес.

Но вот между этим дневным миром и тем «получасом в постели», о котором ты однажды презрительно написала как о «мужской заботе», для меня зияет пропасть, преодолеть которую я не могу – а может быть, и не хочу. Там дело сугубо ночное, во всех смыслах ночное; а здесь целый мир – мой, я им владею, и неужели я должен теперь вдруг перепрыгнуть в ночь, чтобы и ею еще раз овладеть? Да и можно ли чем-то еще раз овладеть? Не значит ли это его потерять? Здесь я владею миром – и вдруг должен перенестись туда, а его оставить – в угоду неожиданному чародейству, ловкому фокусу, камню мудрецов, алхимии, колдовскому кольцу. Прочь, прочь – я ужасно этого боюсь!

Жаждаю посредством колдовства ухватить за одну ночь – в спешке, натужно дыша, беспомощно, одержимо, – посредством колдовства ухватить то, что каждый день дарит раскрытым глазам! (Наверное, детей иначе не получишь, наверное, дети тоже колдовство, – «наверное». Оставим вопрос открытым.) И потому я так благодарен (тебе и всему), и потому, стало быть, samozřejmě,[97] что рядом с тобой я так спокоен и так неспокоен, так скован и так свободен, – и потому-то я, осознав это, отринул всю остальную жизнь. Посмотри мне в глаза!

Итак, лишь от госпожи Колер я узнаю, что книги перебрались с ночного столика на письменный стол. Следовало бы прежде непременно

спросить меня, согласен ли я с этим переселением. Я бы сказал: «Нет!»

А теперь скажи мне спасибо. Я благополучно подавил в себе желание написать в этих последних строчках еще кое-что совершенно безумное (безумно-ревнивое).

Ну все, довольно, теперь расскажи об Эмили.

10 августа, Вторник

К дню рождения я подготовился не очень-то хорошо, спал еще хуже обычного, голова горячая, глаза воспаленные, виски ломит, вдобавок кашель. Наверное, даже мало-мальского желания не сумею высказать без кашля. К счастью, желать ничего не нужно, только благодарить, что ты есть на этом свете, а я изначально (видишь, я тоже не слишком хорошо знаю мир, только в отличие от тебя сознаюсь в этом) – а я изначально даже и не предполагал, что ты можешь там найтись. И за это я благодарю тебя (это благодарность?) поцелуюм в точности как на вокзале, хотя он тебе не понравился (сегодня я почему-то упрямый).

Не всегда в последнее время мне было так плохо, порой было даже очень хорошо, но день главного моего торжества случился с неделю назад. В моем бессилии я совершаю бесконечную прогулку вокруг бассейна в школе плавания, близился вечер, народу было уже немного, но все же вполне достаточно, вдруг приходит второй инструктор по плаванию, который со мной незнаком, оглядывается по сторонам, будто ищет кого-то, потом замечает меня, явно выбирает меня и спрашивает: «Chtel byste si zajezdit?»,[113] Дело в том, что здесь был некий господин, который приехал с Софийского острова и хотел переправиться на Еврейский остров, по-моему, он какой-то крупный строительный подрядчик; на Еврейском острове идет большое строительство. Конечно, не стоит делать из мухи слона, инструктор просто заметил меня, беднягу, и решил порадовать даровым катанием на лодке, но, как бы там ни было, памятуя о солидности подрядчика, он безусловно искал человека молодого, достаточно надежного как по силе и ловкости, так и в том смысле, что, выполнив задачу, он не воспользуется лодкой для недозволенных катаний, а сразу же вернется. По-видимому, он счел, что я обладаю всеми этими качествами. Здоровяк Трнка (владелец школы плавания, о котором я тебе еще расскажу) подошел к нам и спросил, умеет ли молодой человек плавать. Инструктор, который, вероятно, читал во мне как в открытой книге, успокоил его. Я вообще почти ни слова не сказал. Тут подошел пассажир, и мы отплыли. Как благовоспитанный юноша, я помалкивал. Он заметил, что вечер сегодня прекрасный, я ответил: апо[114] потом он сказал, что уже прохладно, я опять сказал: апо, в конце концов он сказал, что я гребу очень быстро, и уж тут я от благодарности вообще ничего не мог произнести. Я, разумеется, ловко подгрел к Еврейскому острову, он сошел на берег, поблагодарил, но, к моему разочарованию, забыл о чаевых (нда, ты ведь не девушка). Я отправился напрямик назад. Здоровяк Трнка удивился, что я вернулся так скоро. Давненько меня так не распирало от гордости, как в тот вечер, я казался себе немножечко, совсем немножечко, но все же достойнее тебя, чем всегда. С тех пор я каждый вечер жду в школе плавания, не явится ли опять какой пассажир, но никто не является.

Нынче ночью в коротком забытии мне пришло на ум, как должно отметить твой день рождения: я навещу важные для тебя места. И сразу же, совершенно невольно, очутился у Западного вокзала. Здание было совсем крохотное, и внутри места наверняка было мало, потому что как раз подошел скорый поезд, и один вагон внутри здания не уместился. Я был весьма удовлетворен тем, что у вокзала стояли три вполне мило одетые девушки (одна с косой), правда очень худенькие, носильщицы. Я понял, что в этом твоём занятии нет, стало быть, ничего необычного. И все-таки порадовался, что сейчас тебя там нет, хотя, с другой стороны, был и огорчен, что тебя там нет. Но в утешение я нашел маленький портфель, утерянный кем-то из пассажиров, и, к изумлению окружающих, извлек из этого маленького портфеля множество больших предметов одежды.

В особенности вторая часть «Типа» великолепна – резкая, злая, антисемитская, превосходная. Я до сих пор вообще не замечал, какая это тонкая штука – публицистика. Ты говоришь с читателем так спокойно, так доверительно, так заинтересованно, ты забываешь обо всем на свете, думаешь только о читателе, но под конец вдруг говоришь: «Хорошо ли то, что я написала? Да? Хорошо? Ну что ж, это меня радует, а впрочем, я далеко и целовать меня в благодарность не разрешаю». А потом и вправду конец, и тебя больше нету.

А знаешь ли ты, что тебя мне подарили к конфирмации (у евреев тоже есть своя конфирмация[115])? Я родился в 83-м году, стало быть, мне было тринадцать лет, когда ты родилась. Тринадцатый день рождения – особенный праздник, я должен был отчитать в синагоге с трудом выученный текст, а потом произнести дома маленькую (тоже выученную) речь. И подарков я много получил. Но сейчас я себе это представляю так: я был не совсем доволен, какого-то подарка мне не хватало, я попросил его у небес – а они до десятого августа все тянули.

Конечно же, я с большим удовольствием перечитываю последние десять писем, хотя знаю их до тонкости. Но и ты перечитай мои, там найдется целый девичий пансион вопросов.

Об отце поговорим в Гмюнде.

Перед «Гретой», как и в большинстве случаев перед девушками, я беспомощен. Была ли у меня тогда вообще хоть какая-то мысль относительно тебя? Не помню. Я люблю держать твою руку в своей, люблю смотреть в твои глаза. Вот, пожалуй, и все, Грета уходит! Что до «не заслужил», пещару, jak takovy clovek...[116] то я и сам стою перед такой же загадкой; эту загадку, думаю, мы и сообща не разгадаем. Кстати, это кощунственно. Как бы там ни было, в Гмюнде я не собираюсь тратить на это ни минуты. Теперь я вижу, что ты вынуждена лгать больше, чем пришлось бы мне. Меня это угнетает. Если возникнет серьезное препятствие, спокойно оставайся в Вене – даже не извещая меня, – я просто съезжу в Гмюнд и побуду на три часа ближе к тебе. Виза у меня уже есть. Телеграфировать мне, по крайней мере сегодня, ты никак не сможешь, из-за вашей забастовки.

11 августа, Среда

Твоей просьбы о прощении я не понимаю. Раз все миновало, само собой разумеется, что я тебя прощаю. Неумолим я был только до тех пор, пока все не миновало, а тогда это тебя не тревожило. Как бы я мог что-то тебе не простить, раз все это миновало! Какая же путаница, должно быть, у тебя в голове, что ты способна подумать такое.

Сравнение с отцом, по крайней мере в эту минуту, мне не нравится. Неужели и я тебя потеряю? (Между прочим, я не обладаю необходимыми для этого силами твоего отца.) Но если ты настаиваешь на этом сравнении, тогда лучше отошли трико обратно.

Покупка и отправка трико, кстати, продолжались целых три часа, и сия история – я тогда очень в этом нуждался – в самом деле взбодрила меня, и я тебе за нее благодарен. Чтобы рассказывать об этом, я нынче слишком устал, вторую ночь почти не спал. Нельзя ли мне немного собраться с силами, чтобы в Гмюнде меня немножко похвалили?

Неужто вправду – зависть к амстердамской путешественнице? Конечно, то, что она делает, замечательно, если она делает это по убеждению, но ты допускаешь логическую ошибку. Для человека, который живет вот так, его жизнь – принуждение, а для того, кто так жить не умеет, она кажется свободой. Ведь повсюду так. Подобная «зависть» в конечном счете всего лишь желание смерти.

Насчет Макса думай что хочешь. Но поскольку я теперь знаю твое к нему поручение, то, когда настанет конец, велю отнести меня к нему, обсужу с ним многодневную совместную прогулку, «потому что чувствую себя особенно крепким», а затем поползу домой и в последний раз вытянусь на своем одре.

Так я говорю, конечно, куда дело до этого не дошло. Но как только у меня будет 37,5 (при 38° в дождь!), доставщики телеграмм затолкают друг друга на твоей длинной лестнице. Вот тогда они, надеюсь, будут бастовать, а теперь, в день рождения, время для этого совершенно неподходящее!

К моей угрозе, что марки я тому человеку отдавать не стану, почта отнеслась чересчур буквально. Когда я получил спешное письмо, марка была уже отклеена. Кстати, пойми правильно того человека, он ведь собирает не по одной марке каждого вида. Для каждого вида у него большие листы, а для всех листов – большие альбомы, и, когда целый лист одного вида заполнен, он берет новый лист и т. д. Над ними он просиживает все вечера, толстый, веселый, счастливый. И с каждым новым видом у него появляется новая причина радоваться, например сегодня по поводу пятидесятигеллеровых марок: теперь почтовый сбор повышается (бедная Милена!) и марки по 50 геллеров станут редкостью!

То, что ты говоришь насчет Кройцена, мне нравится (Афлёр нет, это настоящий легочный санаторий, там делают уколы – фу! – для одного из наших сотрудников это была первая станция перед смертью от туберкулеза), такая страна мне по душе, у нее есть и исторические воспоминания. Но открыто ли там поздней осенью, и принимают ли они иностранцев, и не дороже ли там все для иностранцев, и поймет ли кто-то, кроме меня, почему я еду в голодную страну, чтобы отъедаться? Однако я все же напишу туда.

Вчера опять говорил с тем Штайном. Он из тех людей, с которыми всегда и во всем обходятся несправедливо. Не знаю, почему над ним смеются. Он знает всех и каждого, знает все частные подробности, а притом скромнен, суждения его весьма осторожны, умно сформулированы, уважительны; и ведь то, что они чуть слишком отчетливы, слишком невинно-тщеславны, только увеличивает его ценность, особенно когда знаешь людей тщеславных втайне, сладострастно, преступно. Я вдруг начал с Хааса, прошмыгнул мимо Ярмилы, немного погодя очутился подле твоего мужа и наконец... Кстати говоря, неправда, что я люблю слушать рассказы о тебе, вовсе нет, мне хочется только слышать твое имя, целый день. Если б я спросил, он бы и о тебе много рассказал, но я не спросил, и он лишь с искренним огорчением констатировал, что ты почти что и не живешь, загубленная кокаином (как благодарен я был в тот миг, что ты жива). Между прочим, он осторожно и скромно, в обычной своей манере, добавил, что своими глазами этого не видел, а только слышал. О твоём муже он говорил как о могущественном чародее. Еще он назвал мне новое имя из твоего пражского периода: кажется, Крейдлова. Он бы еще долго рассказывал, но я попрощался, мне было слегка не по себе, в первую очередь из-за меня самого, потому что я молча шел рядом с ним и слушал то, чего не хотел слушать и что меня вовсе не интересовало.

Повторяю: если возникнет какое-нибудь препятствие, которое могло бы стать для тебя причиной каких-нибудь мелких неприятностей, оставайся в Вене, если уж иначе нельзя, даже и не предупреждая меня. Но если поедешь, сразу прорывайся за пограничный барьер. Если из-за какой-либо неведомой мне сейчас нелепости случится так, что я не смогу приехать и не сумею известить тебя в Вене (я тогда телеграфирую г-же Колер), то в Гмюнде в привокзальной гостинице ты найдешь мою телеграмму.

Все шесть книг ты получила?

Читая «Kavarna», [117] я чувствовал себя примерно так же, как слушая Штайна, только ты рассказываешь гораздо лучше его; кто вообще рассказывает лучше? Но почему же ты рассказываешь каждому, кто покупает «Трибуну»? Пока я читал, мне казалось, будто я расхаживал перед кофейней, день и ночь, годами; а когда какой-нибудь посетитель входил или выходил, я заглядывал в открытую дверь, чтобы убедиться, что ты по-прежнему там, и снова принимался ходить и ждать. Было это не грустно и не утомительно. Какая же грусть или утомительность в том, чтобы ждать перед кофейней, в которой сидишь ты!

12 августа, Четверг

То, что Мюнхгаузен все сделал хорошо, очень меня радует, ему случалось выполнять и куда более сложные задачи. И за розами будут ухаживать так же тщательно, как за давешними цветами? А что это были за цветы? И от кого?

Насчет Гмюнда я тебе уже ответил, прежде чем ты спросила. Терзайся как можно меньше, тогда ты и меня будешь терзать совсем мало. Я не очень-то рассчитывал, что тебе придется так лгать. Но как твой муж может поверить, что, увидев тебя однажды, я тебе не пишу и не хочу тебя видеть.

Ты писала, что иной раз тебе хочется меня испытать. Это ведь просто шутка, да? Пожалуйста, не делай этого. Уже на признание уходит невероятно много сил, а сколько же их понадобится на непризнание? Что анонсы тебе по вкусу, очень меня радует. [118] Вот и ешь, ешь! Может быть, если я начну сегодня копить, а ты подождешь лет двадцать и шубы тогда подешевеют (потому что, наверное, Европа обезлюдует и пушные звери будут бегать по улицам), – может быть, тогда хватит и на шубу.

Не знаешь случайно, когда я наконец буду спать, может быть, ночью в субботу или в воскресенье?

Да будет тебе известно: эти марки с надпечаткой – его заветная мечта (у него сплошь «заветные» мечты). «То je krasa, to je krasa!» [119] – твердит он. Что он там такое видит!

Теперь пойду поем, а потом в валютное управление – служебное утро.

13 августа, Пятница

Толком не знаю, зачем пишу, от нервозности, наверное, так же как утром от нервозности отправил телеграфом нескладный ответ на спешное письмо, которое получил вчера вечером. Сегодня после обеда разужаю все у Шенкера и срочно отвечаю.

Снова и снова рассуждая в письмах об этих вещах, неизменно приходишь к выводу, что ты связана со своим мужем (как у меня расшатались нервы, мой корабль, кажется, потерял управление за эти дни) узлами какого-то поистине сакраментального нерасторжимого брака, а я такими же узлами связан уж не знаю с кем, но взгляд этой ужасной супруги часто лежит на мне, я это чувствую. И самое удивительное то, что, хотя каждое из этих супружеств нерасторжимо, и, стало быть, тут не о чем больше говорить, – что, вопреки всему, нерасторжимость одного брака составляет и нерасторжимость другого – во всяком случае, подкрепляет ее – и наоборот. Так и приговор, вынесенный тобою, остается в силе; *nebude toho nikdy*, [120] – и давай не будем больше никогда говорить о будущем, только о настоящем.

Эта истина безусловна, неколебима, на ней зиждется мир, но сознаюсь все же, что чувству моему (только чувству – истина же остается, как была, безусловной. Знаешь, когда я решаюсь написать то, что далее последует, то мечи, чьи острия венцом окружают меня, уже приближаются медленно к моему телу, и это самая изощренная пытка; им стоит только царапнуть меня, я уж не говорю – пронзить, только царапнуть, – как мною овладевает такой ужас, что я готов тотчас же, с первым же вскриком выдать и предать все – тебя, себя, все), – вот с этой оговоркой я сознаюсь, что переписка о таких вещах чувству моему (повторяю еще раз, ради самой жизни моей, – только чувству!) представляется какой-то дикостью – будто я, живя где-то в Центральной Африке и прожив там всю свою жизнь, сообщаю в письмах тебе, живущей в Европе, в центре Европы, свои неколебимые мнения о политических преобразованиях. Но это только метафора, глупая, неловкая, ложная, сентиментальная, жалкая, нарочито слепая метафора, и ничто другое, – а теперь вонзайтесь, мечи!

Ты правильно сделала, что процитировала мне письмо мужа, я, правда, не все до конца понимаю (но посылать мне письмо не надо!), только одно вижу ясно: тут пишет как бы «холостой» мужчина, надумавший «жениться». Но что значит эта его случайная «неверность» – да она вовсе и не является неверностью, ведь вы все равно остаетесь на одном и том же общем пути, только в пределах этого пути он чуть свернул влево, – что значит эта «неверность», к тому же не перестающая изливаться в твое глубочайшее горе также и величайшее счастье, – что значит эта «неверность» по сравнению с вечной моей порабощенностью!

Относительно твоего мужа я прекрасно тебя понял. Вся тайна вашего неразрывного союза, эта неисчерпаемо обильная тайна выливается у тебя снова и снова в заботы об его сапогах. Что-то меня в этом мучит, только не знаю что. А в общем-то все очень просто: уйди ты от него – он либо станет жить с другой женщиной, либо определится в пансион, и сапоги у него будут начищены лучше, чем сейчас. Это и глупо и в то же время не глупо – не знаю, что меня во всем этом мучит. Может быть, ты знаешь?

Тебе не пришлось бы портить день рождения, если б ты заблаговременно написала мне насчет денег. Я их привезу. Но, может быть, мы вообще не увидимся, в таком сумбуре это очень даже возможно.

И вот еще что. Ты пишешь о людях, которые проводят вместе вечер и утро, и о других, которым этого не дано. Именно положение последних кажется мне более выгодным. Они совершили что-то дурное, наверняка или вероятно, и грязь этой сцены, как ты справедливо замечаешь, во многом коренится в их чуждости, и это земная грязь, а вдобавок грязь квартиры, в которой никогда не жили и которую внезапно рывком распахнули настезь. Да, это плохо, но ничего бесповоротного не произошло, ничего такого, что формально решает все в небе и на земле, это вправду только «игра в мяч», как ты говоришь. Словно Ева хотя и сорвала яблоко (иногда мне кажется, что я понимаю грехопадение лучше, чем кто бы то ни было), но лишь затем, чтобы показать его Адаму, потому что оно ей понравилось. Окончательным и бесповоротным было откусить кусочек, а играть с ним хоть и не разрешалось, но и не запрещалось тоже.

17 августа, Вторник

Ответ на это письмо я, стало быть, получу только дней через 10–14, против прежнего это суцая заброшенность, верно?[121] И ведь как раз сейчас мне хочется сказать тебе кое-что неизъяснимое, неопишное, не затем чтобы исправить что-то дурно сделанное в Гмюнде, не затем чтобы спасти нечто утонувшее, а чтобы хорошенько объяснить тебе, как обстоит со мной, чтобы ты не страшилась меня, как, несмотря ни на что, иной раз случается с людьми. Иногда мне кажется, будто на мне висят свинцовые гири, такие тяжелые, что я вот-вот кану в морскую пучину, а тот, кому вздумается схватить меня и тем паче «спасать», оставит эти старания, не от слабости, даже не от безнадежности, а просто от досады. Ну, это, конечно, сказано не тебе, а слабому отблеску тебя, какой еще способна различить усталая, опустошенная (не несчастная и не взволнованная, такому состоянию был бы едва ли не рад) голова.

Итак, вчера я был у Ярмилы. Поскольку для тебя это было очень важно, я не стал откладывать, да и, сказать по правде, мысль о том, что теперь мне так или иначе придется говорить с Ярмилой, тревожила меня, потому я и предпочел сделать это сразу. Несмотря на небритость (ее уже просто гусиной кожей не назовешь), впрочем, успешности моего предприятия она едва ли могла повредить. Примерно в половине седьмого я был наверху, звонок не работал, на стук никто не отзывался, из почтового ящика выглядывали «Народни листы», [122] дома явно никого не было. Пока я там топтался, со двора вошли две женщины, одна была Ярмила, другая, наверное, ее мать. Ярмилу я узнал тотчас, хотя она мало похожа на фотографию, а на тебя и подавно. Мы сразу вышли на улицу и минут десять ходили взад-вперед позади бывшего кадетского корпуса. Самое удивительное для меня, что, вопреки твоим предсказаниям, она была очень разговорчива, правда именно эти десять минут. Она говорила почти непрерывно, это очень напомнило мне многословие ее письма, которое ты мне как-то присылала. Многословие, в котором есть некая самостоятельность, независимая от говорящей, на сей раз это было еще заметнее, потому что речь шла не о таких конкретных подробностях, как тогда в письме. Немного объясняет ее оживленность то, что она, по ее словам, уже несколько дней чрезвычайно взбудоражена из-за той истории, [123] телеграфировала Хаасу по поводу Верффеля (ответа пока нет), тебе послала телеграмму и спешное письмо, а те письма по твоей просьбе сразу сожгла и, не зная более,

чем бы тебя поскорее увидела, уже после обеда подумывала пойти ко мне, чтобы в крайней мере поговорить с человеком, которому тоже об этом известно. (Она, видишь ли, полагала, что знает, где я живу. Дело вот в чем: однажды осенью мы с Оттлой и маленькой Руженкой – той, которая в Пале Шёнборн напороочила мне близкий конец, – решили покататься на лодке и у Рудольфинума встретили Хааса с какой-то женщиной, на которую я тогда вообще не обратил внимания, это и была Ярмила. Хаас назвал ей мое имя, и Ярмила заметила, что несколько лет назад в Общедоступной школе плавания разговаривала иногда с моей сестрой и запомнила ее как еврейскую достопримечательность, поскольку в ту пору Общедоступная школа плавания была сугубо христианской. Жили мы тогда как раз напротив этой школы, и Оттла показала ей нашу квартиру. В общем, такая вот долгая история.) Стало быть, поэтому она искренне рада моему приходу, поэтому так оживлена, кстати, ее очень огорчают эти осложнения, которые безусловно, безусловно кончились и, как она чуть ли не пылко заверила, безусловно, безусловно не будут иметь никаких последствий. Мое честолюбие, впрочем, осталось неудовлетворенным, я – надо признать, не вполне понимая важность этого, но я ведь жил целиком в данном мне поручении – сам намеревался сжечь эти письма и собственноручно развеять пепел над Бельведером.

О себе она говорила мало: мол, сидит все время дома – ее лицо подтверждает это, – ни с кем не разговаривает, а ходит разве что в книжный магазин взглянуть на книги либо на почту – отослать письмо. В остальном она говорила только о тебе (или это я говорил о тебе, задним числом трудно разобраться); когда я упомянул, как велика была твоя радость, когда после одного из берлинских писем ты обнаружила для Ярмилы возможность погостить у тебя, она сказала, что уже толком не понимает, как это вообще можно радоваться, а тем более радоваться ей. Я сказал, что былые времена все ж таки нельзя просто стереть и что там всегда есть возможности, способные ожить. Она сказала, да, если б мы были все вместе, так, наверное, могло бы случиться, и в последнее время она, как-никак, очень тебе радовалась, и ей казалось совершенно естественным и необходимым, чтобы ты – она несколько раз указала на землю перед собой, и вообще, руки у нее были все время в движении – была здесь, здесь, здесь.

У ее дома мы быстро попрощались.

Но прежде она еще немного рассердила меня обстоятельным рассказом об очень красивой твоей фотографии, которую хотела мне показать. В конце концов выяснилось, что она держала эту фотографию в руках перед поездкой в Берлин, когда жгла бумаги и письма, и как раз сегодня после обеда опять искала ее, но тщетно.

Потом я телеграфировал тебе – несколько преувеличивая, – что задание выполнено. Но мог ли я сделать больше? И довольна ли ты мною?

Бессмысленно просить, если письмо дойдет до тебя лишь через две недели,[124] но, может быть, это и не просьба, а всего лишь небольшой довесок к бессмысленности просьбы: пожалуйста, не позволяй себе – насколько это вообще возможно в нашем расшатанном мире (где уж если тебя отрывают, так отрывают навек, и ничем тут не поможешь), – не позволяй себе страшиться меня, даже если я тебя однажды (или тысячу раз, или вот в этот момент, а может быть, он длится постоянно, «этот момент») разочарую. В общем, никакая это не просьба, и адресована она вовсе не тебе, и сам я не знаю, кому она адресована. Это просто сдавленный вздох сдавленной груди.

18 августа, Среда

Твое утреннее письмо от понедельника. С того утра понедельника или, точнее, с обеда, когда благотворность поездки (что ни говори, любая поездка уже сама по себе отдых, тебя как бы берут за воротник и хорошенько встряхивают) уже несколько улетучилась, – с тех пор я непрерывно пою тебе одну-единственную песню, она непрерывно разная и все-таки одна и та же, богатая, как сон без сновидений, нудная и утомительная, порой я сам под нее засыпаю, радуйся, что ты ее не слышишь, радуйся, что ты так надолго избавлена от моих писем.

Ах, знание людей! Какие у меня могут быть возражения против того, что ты в самом деле прекрасно чистишь сапоги. Чисти на здоровье, а потом поставь их в угол и забудь об этом. Вот только то, что ты мысленно чистишь их целый день, мучит меня иногда (и не делает сапоги чистыми).

Четверг

Я хотел снова и снова слышать другую фразу, а именно: *jsi muj*. [125] И почему именно ее? Она ведь означает даже не любовь, скорее близость и ночь.

Да, ложь была велика, и я в ней соучаствовал, но, что еще хуже, в глубине души, наедине с собой, считал ее невинностью.

К сожалению, ты постоянно даешь мне поручения, которые к моему приходу всегда сами собой улажены. Раз ты так мало мне доверяешь и просто хочешь внушить мне малую толику уверенности в себе, то очень уж это заметно.

Какое отношение Ярмилины телеграмма (отправленная еще до нашей встречи) имеет ко мне, а тем паче к ревности, я не понимаю. Мое появление как будто бы ее обрадовало (из-за тебя), но еще больше она обрадовалась моему уходу (из-за меня или, точнее, из-за нее самой).

По поводу простуды ты могла бы написать еще хоть несколько слов; где ты простыла – в Гмюнде или по дороге домой из кофейни? Здесь, между прочим, пока что настоящее лето, в воскресенье дождь шел опять только в Южной Богемии, я был горд, что по моему вымокшему платью весь свет мог определить, что я приехал со стороны Гмюнда.

19 августа, Пятница

Когда читаешь вблизи, те жалкие условия, в каких ты теперь живешь, совершенно непонятны, нужно отодвинуться подальше, но и тогда это довольно-таки трудно.

Когти ты истолковала превратно, и это опять же непонятно. Все, что ты говоришь о Гмюнде, верно, причем в самом широком смысле. Я

помню, например, как ты спросила меня, не изменил ли я тебе в Праге. Спросила наполовину в шутку, наполовину всерьез, наполовину безразлично – опять три половины, именно потому, что это невозможно. У тебя же были мои письма – и такой вопрос. Был ли он возможен? Но этого мало, я сделал все еще более невозможным. Я сказал, нет, я был верен тебе. Как получается, что люди так говорят? В тот день мы разговаривали друг с другом и слушали друг друга, часто и долго, как чужие.

Вчера под вечер ко мне заходила Ярмила (не знаю, откуда у нее мой нынешний адрес), меня дома не было, она оставила письмо для тебя и карандашную записку, в которой просила переслать это письмо тебе, у нее есть твой загородный адрес, но она считает, что так будет надежнее.

22 августа, Понедельник

Ну вот, ждать пришлось все же не так долго, два письма из Зальцбурга я получил, пусть в Гильгене будет хорошо, ведь осень уже, что ни говори. Мне и плохо и хорошо, смотря с какой стороны глядеть, надеюсь, здоровье и осенью еще некоторое время продержится. О Гмюнде мы, так или иначе, непременно будем писать или говорить – это часть плохого самочувствия; письмо Ярмилы я прилагаю. На ее визит я ответил по пневматической почте: конечно же, я с большим удовольствием переправлю письмо, но только если в нем нет ничего срочного, ведь твой адрес я рассчитывал получить не раньше чем через неделю. Она не ответила.[126]

26 августа, Четверг

Сперва я прочитал карандашное письмо, а в том, что от понедельника, только бегло просмотрел подчеркнутое место, но все-таки почел за благо отложить его; как я пуглив и как плохо, что нельзя всем существом броситься внутрь каждого слова, чтобы, если на это слово нападут, всем существом обороняться или всем существом погибнуть. Хотя и тут есть не только смерть, но и болезни.

Еще прежде чем я дочитал письмо – ты в конце пишешь что-то подобное, – мне вдруг подумалось, нельзя ли тебе остаться там немного дольше, пока осень позволяет. Это возможно?

Из Зальцбурга письма приходили быстро; из Гиль-гена они идут медленнее, но я получаю известия и из других источников. В газете заметки Польгара, речь идет об озере, безмерно печально и смущает душу, потому что еще и весело, – ну, этого немного, но там есть и сообщения из Зальцбурга, о фестивале, о переменчивой погоде – это тоже невесело, ты все-таки уехала слишком поздно; кроме того, Макс иногда по моей просьбе рассказывает о Вольфанге и о Гиль-гене, в детстве он был там очень счастлив, в давние времена было, наверное, гораздо лучше. Но все это очень немного, если бы не «Трибуна», эта возможность каждый день находить что-то твое, и в самом деле находить то одно, то другое. Тебе неприятно, что я об этом говорю? Но я читаю с таким удовольствием. И кому же говорить об этом, как не мне, лучшему твоему читателю? Еще до того как ты сказала, что порой пишешь, думая обо мне, я чувствовал, что это связано со мной, в том смысле, что прижимал газету к себе, а теперь, когда ты прямо сказала об этом, я, пожалуй, еще больше робею и, читая, например, о зайце в снегу, почти вижу в нем себя.[127]

Все-таки прочитал и второе письмо, правда только начиная с этого места: Nechci, abys na to odprovidal.[128] Не знаю, что там раньше, но сегодня, глядя на твои письма, которые неопровержимо свидетельствуют, что ты именно такая, какой я ношу тебя в моей душе, я готов, не читая, признать все написанное справедливым, пусть даже в дальних инстанциях это будет повернуто против меня. Я грязен, Милена, бесконечно грязен, оттого и поднимаю такой шум насчет чистоты. Никто не поет так чисто, как те, кто находится в безднах преисподней; то, что мы считаем пением ангелов, – их пение.

Вот уже несколько дней, как я начал «военную службу», точнее, жизнь «на маневрах», много лет назад я случайно обнаружил, что временами для меня это самое лучшее. Во второй половине дня спать в постели сколько возможно, потом два часа гулять, потом бодрствовать сколько возможно. Но в этом «сколько возможно» есть загвоздка. «Возможно-то недолго», и после обеда, и ночью, и все-таки утром, когда прихожу в бюро, я совершенно вялый. Настоящая же добыча прячется именно в глубинах ночи, во втором, третьем, четвертом часу; а сейчас, если я не лягу спать самое позднее в полночь, потеряю и я сам, и ночь, и день. Тем не менее это не беда, такая «служба» хороша и без всяких результатов. Да их и не будет, мне нужно таких полгода, чтобы мало-мальски «развязать себе язык», а затем осознать, что все кончено, что разрешение на «службу» истекло. Но, как я уже сказал, это само по себе хорошо, даже если время от времени донимает тиранический кашель.

Конечно, письма были не так уж и плохи, но этого карандашного письма я все-таки не заслуживаю. Где вообще хоть кто-то, кто бы его заслуживал, на земле и в небесах?

Четверг, вечером

Сегодня я, по-моему, только и делал, что сидел сложа руки, время от времени что-то почитывал, но главным образом бездельничал либо вслушивался в то, как усердствует в висках неслышная, совсем тихая боль. Целый день у меня не выходили из головы твои письма, я думал о них с болью, нежностью, тревогой и совершенно неопределенным страхом перед чем-то неопределенным, чья неопределенность состоит главным образом в том, что он безмерно превышает мои силы. При этом у меня даже не хватило мужества перечитать эти письма по второму разу, а полстраницы в одном из них я и по первому разу не прочел. Почему человек не может примириться с тем, что так оно и надо – жить в этом совершенно особом, неотступном, самоубийственном напряжении (ты однажды обронила мельком что-то подобное, а я тогда попытался тебя высмеять!), – нет, он самонадеянно расшатывает эту клетку, вырывается из нее, как неразумное животное (да еще и, как животное, радуется этому неразумию), – и тем притягивает к себе все потревоженное, разъярившееся электричество, и ток этот пронизывает и почти сжигает его.

Что я, собственно, хочу этим сказать, я не знаю. Мне просто хотелось как-то подхватить те жалобы – не высказанные, а потаенные, – что слышатся в твоём письме, и я это могу, ведь они, по сути, и мои тоже. То, что мы с тобой даже и здесь, во тьме, так заодно, – вот что самое удивительное, и я не каждую секунду готов в это поверить – пожалуй, только через раз.

27 августа, Пятница

Ночь я вместо сна провел с твоими письмами (правда, не совсем по доброй воле). Но все-таки состояние мое пока не самое плохое – бывает и хуже. Правда, не было письма от тебя, но и это, в общем-то, ничего. Сейчас это даже много лучше – что мы не пишем друг другу ежедневно; ты это – уж сознайся – раньше меня поняла. Ежедневные письма ослабляют, вместо того чтобы подкреплять; прежде, бывало, выпьешь письмо до дна – и чувствуешь в себе (я говорю о Праге, не о Меране) удесятеренную силу и одновременно удесятеренную жажду. А теперь все приняло такой серьезный оборот – теперь кусаешь себе губы, читая письма, и ни в чем, ни в чем нет уверенности, кроме этой тонкой боли в висках. Но и это пускай – об одном прошу: не болей, Милена, только не болей. Можешь не писать, хорошо (сколько мне нужно дней, чтобы справиться с двумя такими письмами, как вчерашние? Глупый вопрос – разве такое исчисляется днями?) – но пусть только не болезнь будет тому причиной. Я ведь думаю при этом исключительно о себе. Что я тогда буду делать? Скорее всего то же, что и сейчас, – но как я буду это делать? Нет, даже и думать об этом не хочу. И при этом, когда я думаю о тебе, яснее всего мне представляется вот что: ты лежишь в постели – примерно так, как лежала тогда в Гмюнде вечером на лугу (я рассказывал тебе о своем друге, а ты почти не слушала). И представление это вовсе не мучительно, оно даже лучше всего того, о чем я сейчас в состоянии думать, – итак, ты лежишь в постели, а я немножко забочусь о тебе: забегу ненадолго, приложу тебе руку ко лбу, погружусь в твои глаза, глядя на тебя сверху вниз, а потом хлопочу в комнате, постоянно, ежесекундно, с совсем уж необузданной гордостью осознавая, что я живу для тебя, что это мне дозволено, – и снова благодарю тебя за то, что ты однажды остановилась передо мной и протянула мне руку. И болезнь твоя при этом не так уж серьезна, она скоро пройдет и сделает тебя еще здоровее, чем прежде, и ты снова встанешь во всей твоей величавости, а я вскоре после этого в один прекрасный день – и надеюсь, без шума и боли – зарююсь в землю. Так что все это не мучительно – но вот стоит представить себе, что ты там, на чужбине, заболеешь...

Ты тоже любишь кондукторов, правда? Н-да, тогдашний веселый и все же так по-венски исхудалый кондуктор! Но хорошие люди есть и тут; дети хотят стать кондукторами, чтоб быть такими же могущественными и уважаемыми, разъезжать повсюду, стоять на подножке, так же низко склоняться к детям, вдобавок у них в руках компостер и множество трамвайных билетов; а вот меня все эти возможности скорее отпугивают, я бы хотел быть кондуктором, чтобы так же радоваться жизни и во всем участвовать. Однажды я шел следом за медленно катившим трамваем, а кондуктор, – (поэт зашел за мной в бюро, пускай ждет, пока я не закончу с кондуктором) – стоя на задней площадке, высунулся далеко наружу и что-то мне кричал, чего я в шуме Йозефской площади не слышал, и возбужденно жестикулировал, куда-то показывая, но я не понимал, трамвай между тем все удалялся, и усилия кондуктора становились все безнадежнее, – наконец я сообразил: золотая булавка на моем воротничке расстегнулась и он старался обратить на это мое внимание. Я вспомнил об этом сегодня утром, когда после нынешней ночи тупо, как больное привидение, сел в трамвай и протянул кондуктору 5 кр., а он, чтобы меня развеселить (не меня, конечно, потому что на меня он даже не смотрел, просто чтобы развеселить атмосферу), обронил какое-то добродушное, но пропущенное мною мимо ушей замечание насчет банкнотов, которыми сдал мне сдачу, после чего некий господин, стоявший рядом со мной, по причине эдакого отличия тоже мне улыбнулся, я в свою очередь ответил улыбкой – а как же иначе? – и все впрямь стало немножко лучше. Если бы это развеселило и дождливое небо над Санкт-Гильгеном!

28 августа, Суббота

Чудо, Милена, чудо, какое чудо! Самое чудесное в твоём письме (от вторника) – покой, вера, ясность, которыми оно рождено.

Еще утром ничего не было; с самим этим фактом я бы легко примирился: что касается получения писем, то тут все переменялось, зато с писанием их все осталось по-прежнему, необходимость писать – эта мука и это счастье – сохранилась; итак, с самим фактом я бы примирился: к чему мне письмо, если, например, весь вчерашний день, и вечер, и половину ночи я провел в беседе с тобой, я был при этом искренен и серьезен, как ребенок, а ты внимательна и серьезна, как мать (в действительности-то мне никогда не приходилось видеть такого ребенка и такой матери); в общем, это бы все сошло, мне только необходимо было знать причину твоего молчания, чтобы не представлять тебя все время больной в постели, в маленькой комнате, там, под осенним дождем, – ты лежишь одна, у тебя лихорадка (ты сама писала), простуда (ты сама писала), пот по ночам, усталость (все это ты писала) – вот только не это, тогда все было бы хорошо и лучшего я не желал бы.

Отвечать на первый абзац твоего письма я не хочу, я ведь даже не знаю пресловутого первого абзаца предыдущего письма. Это все очень глубоко сплетенные вещи, делимые только в беседе между матерью и ребенком, внятные там, быть может, лишь оттого, что там им встречаться не положено. Не хочу вдаваться во все это потому, что боль притаилась в висках и ждет. Уж не поразила ли стрела любви меня в висок вместо сердца? И о Гмюнде я тоже не буду больше писать, во всяком случае намеренно. Многого мог бы я тут сказать, но, так или иначе, все сводилось бы к тому, что, даже если б я простился с тобой в тот же вечер, первый день в Вене не стал бы от этого лучше, причем у Вены было еще то преимущество перед Гмюндом, что я вернулся туда в полубеспамятстве от страха и изнеможения, в то время как в Гмюнд я приехал, ничего не подозревая, – был настолько глуп, так блистательно самоуверен, будто ничего уже не могло со мной случиться, – приехал, как домовладелец; странно, что при всем беспокойстве, то и дело меня пронизывающем, у меня так притупился инстинкт владения, – а может быть, это и есть мой главный изъян, и тут, и в других вещах.

Уже четверть третьего, твое письмо я получил лишь около двух, пока писать перестану и иду обедать, ладно?

Перевод заключительной фразы очень хорош.[129] В этом рассказе каждое предложение, каждое слово, вся его музыка (если мне позволено будет так сказать) связаны со «страхом»; тогда, в одну долгую-долгую ночь, впервые открылась эта рана, и вот эту связь ты в переводе, по-моему, передала очень точно – но ведь на то у тебя и колдовская рука.

Пойми, что особенно мучительно в получении писем, ну да ты это знаешь. Сегодня между твоим и моим письмом, насколько это возможно в великой неуверенности, царит ясная, добрая, глубинная общность, теперь буду ждать ответов на мои прежние письма, и, признаться, я их страшусь.

Между прочим, каким это образом ты ждешь моего письма во вторник, если я только в понедельник получил твой адрес?

29 августа, Воскресенье

Вчера я впал в странное заблуждение. Днем я так был обрадован твоим письмом (от вторника), а когда перечитал его вечером, вдруг понял, что оно, в сущности, почти ничем не отличается от других твоих последних писем, что оно много несчастней, чем можно вычитать из

слов. Ошибка моя доказывает, насколько глубоко я погружен в самого себя, думаю лишь о себе самом, а из всего твоего удерживаю лишь то, что способен удержать, да и с тем готов убежать куда-нибудь в пустыню, пока не отняли. Я тогда оторвался от диктовки и забежал в свою комнату, а там вдруг увидел на столе твое письмо, я зашелся от радости, жадно пробежал его глазами, и поскольку там, по счастью, не оказалось никакого пропечатанного жирными буквами обвинения против меня, поскольку и в висках стучало на этот раз спокойно, поскольку я, обуянный легкомыслием, представил себе тебя возлежащей тихо-мирно в окружении гор и лесов, на берегу озера, – по всему по этому (и еще по некоторым другим причинам, тоже не имеющим ничего общего с твоим письмом и истинным твоим положением) – по всему по этому твое письмо показалось мне радостным, вот я и написал тебе совершенно безумный ответ.

30 августа, Понедельник

Видишь, Милена, вот так все беспокоило, вот так то туда, то сюда швыряет человека в море, которое только по злобе его не глотает. Недавно я просил тебя не писать ежедневно, просил искренне, я страшился писем; когда их не было, я чувствовал себя спокойнее; когда видел на столе письмо, мне приходилось собирать все силы, а их было так мало, – сегодня же я был бы несчастен, если б не получил этих открыток (я присвоил обе). Спасибо.

Из довольно банальных статей, какие я до сих пор читал о России, самое большое впечатление на меня, вернее, на мое тело, мои нервы, мою кровь произвела приложенная к этому письму. Впрочем, я воспринял ее не вполне так, как там написано, а сперва переложил для моего оркестра. (Конец статьи я оторвал, в нем обвинения по адресу коммунистов, которые сюда касательства не имеют, да и вообще все это просто обрывок.)

31 августа, Вторник

Пришло письмо, помеченное пятницей; если в четверг ты не писала, то все хорошо; лишь бы ни одно не пропало.

Все, что ты пишешь обо мне, ужасно умно, мне нечего добавить, пусть все так и остается. Только одно, о чем ты тоже написала, я хочу высказать еще откровеннее: несчастье мое в том, что я всех людей – а уж самых дорогих для меня прежде всего – считаю хорошими, и умом и сердцем так считаю (только что входил человек и перепугался – на моем лице, обращенном в пустоту, выразилось это убеждение), – вот только тело мое как-то не может поверить, что они, когда надо, действительно будут хорошими, оно съезживается от страха и, вместо того чтобы выждать проверку (которая в этом смысле поистине спасла бы мир), медленно заползает на стену.

Снова начал рвать письма – вчера вечером одно порвал. Ты очень несчастна – и это из-за меня (есть, наверное, и другие причины – одно влияет на другое) – можешь говорить об этом все откровеннее. Сразу, правда, не получится, я понимаю.

Вчера был у врача. Вопреки моим ожиданиям, ни он, ни весы не находят, что мое состояние улучшилось, – правда, и не ухудшилось. Но уехать куда-нибудь мне надо, так он считает. После Южной Швейцарии (когда я его просветил и он сразу понял, что это невозможно) он, не раздумывая, назвал (без всякой моей подсказки) два санатория в Нижней Австрии – говорит, это самые лучшие: санаторий «Гримменштайн» (доктора Франкфуртера) и санаторий «Венский лес», кстати, он сейчас не знает почтового адреса ни того ни другого. Может быть, ты при случае могла бы это выяснить – в аптеке, у какого-нибудь врача, в почтовом или телеграфном справочнике? Это не срочно. Но я не уверен, что поеду туда. Это исключительно легочные санатории, дома, день и ночь сотрясаемые кашлем и лихорадкой, – там надо есть мясо, там бывшие палачи выкручивают тебе руки, если ты сопротивляешься уколам, а врачи-евреи, поглаживая бороды, спокойно на это смотрят, равно суровые и к христианину и к жида.

В одном из последних писем ты как будто бы написала (я не решаюсь доставать из стола эти письма, может быть, я при беглом чтении чего-то и недопонял, скорее всего так оно и есть), что близок конец. Насколько тут выразилось минутное отчаяние, а насколько – постоянная истина?

Еще раз перечитал твое письмо и беру «ужасно» назад, там кое-чего не хватает, а кое-чего в избытке, значит, это попросту «умно». Людям вообще очень трудно играть в жмурки с призраками.

Ты встречалась с Бляем.[100] Что он подельывает? Охотно верю, что все было глупо и что противоречия все равно остались. Есть в этом нечто замечательное, только вот находится оно милях в 50 000 и приехать отказывается, а когда принимаются звонить все зальцбургские колокола, оно из осторожности отдалается еще на несколько тысяч миль.

Вторник

В перерыве диктовки, на которую я нынче себя подвиг.

Такие маленькие радостные или хотя бы естественные письма, как оба сегодняшних, это уже почти (почти почти почти почти) лес и ветер в твоих рукавах и вид на Вену. Милена, как хорошо у тебя!

Сегодня девушка без единого слова, лишь с несколькими карандашными пометками, переслала мне твое письмо. По всей видимости, она им недовольна; конечно, оно, как всякое письмо, в котором есть зачеркивания, не лишено недостатков, и, глядя на него, я осознаю, какой бессмысленной невозможности я от тебя потребовал тем письмом, и прошу у тебя прощения. Вообще-то стоило бы попросить прощения и у нее, ведь как бы ни было написано, ее это наверняка обидело. Если ты, например, пишешь, очень деликатно пишешь: «Ponevadz o Vas nikdy ani nepisal ani nehovori!»,[74] ее это наверняка обидит, точно так же, как обидело бы и противоположное. Прости меня еще раз. Другим письмом, адресованным Стасе, ты, между прочим, очень мне помогла.

Суббота

Вот уже, наверное, полчаса я читаю эти два письма и открытку (не забыть и конверт, удивляюсь, что весь отдел входящей корреспонденции не приходит и не просит за тебя прощения) и только сейчас заметил, что все время смеюсь. Да найдется ли во всемирной истории какой-нибудь император, которому было бы лучше, чем мне? Он входит в свою комнату, а там лежат три письма, и

ему остается только их открыть, – ах, медлительные пальцы! – откинуться назад и – не мочь поверить, что это счастье привалило ему.

Нет, смеялся я не все время, о переноске багажа я ничего не говорю, я просто не могу в это поверить, а если и поверю, не смогу себе представить, а если и смогу себе представить, ты, такая красивая – нет, то была уже не красота, то было заблуждение небес, – как в «воскресенье», и я понимаю того «господина» (он, верно, дал 20 кр. и получил 3 кр. сдачи[78]). Но поверить я все-таки не могу, а если это тем не менее произошло, согласен – это было и ужасно, и великолепно. Но что ты ничего не ешь, и голодаешь (тогда как меня тут без всякого голода упорно обкармливают), и у тебя круги под глазами (это же наверняка не ретушь, они отнимают у меня половину радости от фотографии, хотя остается все же достаточно, чтобы мне хотелось целовать тебе за нее руку долго-долго, всю жизнь, ведь тогда у тебя не будет больше возможности ни переводить, ни носить с вокзала багаж) – стало быть, вот этого я тебе простить не могу и никогда не прощу, и, даже если мы через сто лет будем сидеть возле нашей хижины, я все равно буду корить тебя из-за этого. Да-да, я не шучу. Что же это за противоречие – твердишь, что любишь меня, то есть стоишь на моей стороне, а сама голодаешь наперекор мне, а тут лежат лишние деньги и там стоит «Белый петух».

То, что ты говоришь о письме девушки, я в порядке исключения прощаю, потому что ты (наконец-то!) называешь меня секретарем (меня зовут tajemník,[79] поскольку то, чем я занимаюсь последние три недели, очень tajemne[80]), да и вообще ты права. Но достаточно ли – быть правым? А главное: я не прав, стало быть, не желаешь ли ты чуточку – это невозможно, я знаю, но речь только о желании – разделить мою неправоту, отвлекшись от равнодушия девушкина письма и вычитав из него мою неправоту, которая записана там большими буквами? Впрочем, я бы предпочел вовсе не слышать более об этой переписке, которая нелепым образом возникла по моей же вине. Твое письмо я отослал ей обратно с несколькими приветливыми строчками. С тех пор ничего не слышал, предложить встречу оказалось выше моих сил, надеюсь, все кончится тихо и мирно.

Ты защищаешь письмо Стасе, а ведь я же поблагодарил тебя за него.

Ты была в Ной-Вальдегге? Я тоже часто туда езжу, странно, что мы не встретились. Да, ты взбираешься в горы и ходишь так быстро, наверное, промелькнула мимо меня, как в Вене. Что же это были за четыре дня? Богиня вышла из кино и маленькая носильщица стояла на перроне – это и есть четыре дня?

Это письмо Макс получит еще сегодня. Больше, чем удалось вычитать тайком, я ничего не вычитал.

Да, с Ландауэром[81] тебе и впрямь не везет. А по-немецки он тебе по-прежнему нравится? Что ты из этого сделала, бедное дитя (не детка, Боже упаси!), измученное и смятенное от моих писем. Разве я не прав, что письма тебе мешают? Но какой толк в правоте? Когда я получаю письма, я всегда прав и все такое, а если б не получал, не имел бы ни правоты, ни жизни, ни чего-либо иного.

Ах, поехать бы в Вену!

Перевод, пожалуйста, пришли – не терпится заполучить от тебя все-все-все.

Четверг

Значит, сегодня, причем неожиданно, день без письма, которого я давно боялся. Значит, письмо от понедельника было написано так всерьез, что на другой день ты писать не могла. Что ж, в качестве поддержки у меня хотя бы есть твоя телеграмма.

Понедельник

Только я собрался написать тебе еще кое-что в духе прежнего, как пришли четыре письма, кстати не сразу, сперва то, в котором ты сожалеешь, что написала мне про обморок, чуть позже то, которое ты написала сразу после обморока, вместе с тем, наконец-то с тем, которое поистине прекрасно, а еще немного погодя письмо, где идет речь об Эмилии. В их последовательности я пока не вполне разобрался, ты более не указываешь дни.

Стало быть, ответу на вопрос «strach – touha»,[110] сразу вряд ли получится, но я постараюсь в нескольких письмах вернуться к этому, и тогда, наверное, будет как надо. Хорошо было бы также, если б ты познакомилась с моим (вообще-то плохим, ненужным) письмом к отцу. Может быть, я захвачу его в Гмюнд.

Если ограничить «strach» и «touha» так, как ты это делаешь в последнем письме, то вопрос нелегкий, но ответить на него очень легко. Тогда у меня только «strach». И дело вот в чем.

Мне вспоминается первая ночь. Мы жили тогда на Цельтнергассе, напротив был магазин готового платья, в дверях там вечно стояла одна из продавщиц, а наверху я, юноша чуть старше двадцати, расхаживал взад-вперед по комнате, занятый нервной зубрежкой бессмысленных для меня вещей к первому государственному экзамену. Было это летом, жарко, в такую пору вполне естественная, но невыносимая, у окна я, с мерзкой жвачкой истории римского права в зубах, все время останавливался, в конце концов мы знаками уговорились о встрече. Вечером в 8 я должен был зайти за ней, но, когда спустился вечером вниз, там уже был другой, хотя это мало что меняло, я боялся всего мира, а значит, и этого человека; не будь его здесь, я бы все равно его боялся. Девушка, однако, взяв его под руку, сделала мне знак идти следом за ними. Так мы добрались до Стрелецкого острова, выпили там пива, я за соседним столиком, потом не спеша пошли – я позади – к дому девушки, где-то возле Фляйшмаркта, там этот человек попрощался, девушка вошла в дом, я немного подождал, она появилась опять, и мы с ней пошли в гостиницу на Малой стране. До самой гостиницы все было очаровательно, волнующе и отвратительно, да и в гостинице было так же. А под утро – по-прежнему было жарко и красиво, – когда мы шли по Карлову мосту домой, я был в общем счастлив, но счастье это заключалось лишь в том, что вечно бунтующая плоть наконец-то утомилась, а главное – все не стало еще более отвратительным, еще более грязным. После я еще раз встретился с этой девушкой, по-моему через две ночи, все оказалось так же хорошо, как в первый раз, но потом я сразу уехал на дачу, пофлиртовал там немножко с одной девушкой и в Праге уже смотреть не мог на продавщицу, больше словом с ней не перемолвился, она (с моей точки зрения) была моей злой врагиней. и все же оставалась доброй, приветливой девушкой, постоянно преследовала меня недоуменным взглядом. Я не хочу сказать, что единственной

причиной моей враждебности (конечно, нет) было то, что в гостинице эта девушка без всякого умысла совершила крохотную гнусность (пустяк, о котором и говорить не стоит), сказала маленькую непристойность (пустяк, о котором и говорить не стоит), но память осталась, я тотчас понял, что никогда этого не забуду, и одновременно понял, или решил, будто понял, что это гнусное и грязное внешне, разумеется, но неизбежно, а вот внутренне куда как неизбежно связано со всей историей и что именно это гнусное и грязное (лишь мелким знаком которого были ее мелкий поступок, короткое словцо) с такой безумной силой влекло меня в гостиницу, от которой я в ином случае бежал бы из последних сил.

Так было тогда, и так осталось. Моя плоть, нередко годами спокойная, внезапно опять содрогалась от невыносимого стремления к маленькой, вполне определенной гнусности, к чему-то слегка отвратному, тошному, грязному; даже и к лучшему, что я здесь получал, примешивалась частица этого, слабенький скверный запах, немножко серы, немножко ада. В этом влечении было что-то от Вечного жидка, бессмысленно бредущего, бессмысленно странствующего по бессмысленно грязному миру.

Но случались и времена, когда плоть не была спокойна, когда вообще ничего не было спокойно, и все же я отнюдь не ощущал принуждения, жизнь была хорошая, спокойная, тревожимая лишь надеждой (знаешь ли ты тревогу лучше этой?). В такие времена, если они оказывались хоть сколько-нибудь продолжительными, я всегда был один. Впервые в моей жизни сейчас такие времена – и я не один. Потому-то не только твоя телесная близость, но ты сама и успокаиваешь меня, и тревожишь. Потому-то я не стремлюсь к грязи (на первых порах в Меране я вопреки своей открытой воле день и ночь строил планы, как бы мне завладеть горничной – и даже хуже, – к концу пребывания там ко мне пристала весьма охочая девица, пришлось в какой-то мере сперва перевести ее слова на свой язык, чтобы вообще ее понять), я форменным образом не вижу грязи, ничего такого, что раздражает извне, вокруг нет, зато есть все, что дарует жизнь изнутри, – коротко говоря, толлика того воздуха, каким дышали в раю до грехопадения. Малая толлика этого воздуха, и потому нет «тоуна», но не весь воздух – потому и «страх». – Ну вот, теперь ты все знаешь. Как раз поэтому я и «страшился» гмюндской ночи, но это был обычный «страх» – ах, да ведь и обычного достаточно, – который есть у меня и в Праге, а не какой-то особенный, гмюндский страх.

А теперь расскажи об Эмили, я смогу получить письмо еще в Праге.

Сегодня ничего в конверт не вложу, только завтра. Ведь это письмо важное, я хочу, чтобы ты получила его без всякой опасности.

Обморок – только один из многих знаков. Пожалуйста, обязательно приезжай в Гмюнд. Если утром в воскресенье будет дождь, то ты не сможешь приехать? Ну, я-то в любом случае буду утром в воскресенье у гмюндского вокзала. Паспорт-то тебе, наверное, не нужен? Ты уже наводила справки? Не нужно ли тебе чего-нибудь, что я мог бы для тебя привезти?[111]

Упомянув о Стасе, ты имеешь в виду, что я должен пойти к ней? Но она вряд ли в Праге. (Если она в Праге, пойти, конечно, еще труднее.) Подожду с этим до следующего упоминания или до Гмюнда.

Замечание об Л. (что за память! – это не ирония, а ревность, и не ревность, а глупая шутка) ты поняла превратно. Мне просто бросилось в глаза, что все люди, о которых он говорил, были «дураки», либо «мошенники», либо «прыгуны из окна», тогда как ты была просто Миленой, и весьма уважаемой. Это меня порадовало, потому я и написал тебе об этом, а вовсе не потому, что это было спасение твоей чести, нет, это было спасение его чести. Между прочим, если уж соблюдать точность, были и еще кой-какие исключения: его в ту пору будущий тесть, его невестка, его зять, прежний жених его невесты – все они были подлинно «превосходные» люди.

Твое сегодняшнее письмо так печально, а главное, боль в нем так запрятана, что я кажусь себе совершенно посторонним. Если приходится выйти из комнаты, я бегаю вверх-вниз по лестницам, только бы оказаться опять там и найти на столе телеграмму: «Я тоже буду субботу Гмюнде». Но пока ничего не получил.

Воскресенье

Телеграмма. Да, пожалуй, лучше всего нам встретиться. Иначе неизвестно, сколько еще будет так продолжаться, прежде чем мы наведем порядок. Откуда все это взялось между нами? Ведь видишь разве что на шаг вперед. И как ты, наверное, страдала от этого вдобавок ко всему прочему. И ведь я давно мог бы все это прекратить, я достаточно ясно различал перспективу, но трусость пересиливала. И разве я не лгал, отвечая на письма, которые (я понимал!) мне явно не принадлежали, так, будто они адресованы мне? Надеюсь, приехать в Гмюнд вынудил тебя не один из «лживых» в этом смысле ответов.[112]

На душе у меня совсем не так печально, как можно бы подумать по этому письму, просто ничего другого сейчас не скажешь. Так тихо стало, и в тишине не смеешь сказать ни слова. Ну что ж, в воскресенье мы будем вместе, пять-шесть часов, для разговоров мало, а для молчания, для держания за руку, для смотра в глаза – достаточно.

Понедельник

Однако ж, судя по расписанию, дело обстоит еще лучше, чем я думал, надеюсь, расписание правильное, стало быть, вот что мы имеем.

1-я возможность, много худшая:

В субботу, в 4.12 пополудни, я выезжаю отсюда, в 11.10 вечера приезжаю в Вену, в нашем распоряжении семь часов, потому что уезжаю я в воскресенье утром, в 7. Правда, семь часов при условии, что накануне ночью (задача непростая) я немного посплю, иначе перед тобой будет всего-навсего бедный больной зверек.

2-я возможность, которая благодаря расписанию просто великолепна:

В 4.12 я выезжаю отсюда, но уже (уже! уже!) в 7.28 вечера прибываю в Гмюнд. Даже если я уеду в воскресенье утренним скорым, это будет только в 10.46, стало быть, в нашем распоряжении окажется больше пятнадцати часов, из которых час-другой можно будет и поспать. Но дело обстоит еще лучше. Мне вовсе не обязательно уезжать этим поездом, потому что в 4.38 пополудни в Прагу идет

Самосражский, на нем-то я и мог бы уехать. Тогда у нас будет двадцать один час вместе, и мы (только подумай!), по крайней мере теоретически, можем располагать ими каждую неделю.

Тут есть только одна загвоздка, хотя, по-моему, не очень серьезная, во всяком случае, тебе стоило бы навести об этом справки. Дело в том, что гмюндский вокзал – чешский, а город – австрийский; неужто глупость с паспортами доходит до того, что без паспорта житель Вены через чешский вокзал пройти не может? Но ведь тогда и гмюндцы, едущие в Вену, тоже должны иметь паспорт с чешской визой, нет, я все-таки не могу в это поверить, это ведь было бы, как назло, против нас. И без того плохо, что мне придется битый час торчать в Гмюнде на таможне, прежде чем я смогу выйти из вокзала, а ведь это сокращает наш двадцать один час.

Собственно говоря, после этих важных вещей мне добавить нечего. Между прочим, большое спасибо, что ты и сегодня не оставила меня без письма. Но завтра? Звонить по телефону я не буду: во-первых, слишком много волнений, во-вторых, это попросту невозможно (я уже узнавал), а в-третьих, мы скоро увидимся. К сожалению, у Оттлы нынче не было времени сходить в полицейское управление насчет паспорта, завтра. Да, с марками ты поступаешь замечательно (увы, я куда-то задевал марки спешной почты, так он чуть не заплакал, когда я ему об этом сказал). Благодарить ты меня за марки довольно легковесно, но я и этому рад, да так, что, представь, пришлю тебе еще и легионерские марки. Рассказывать сказки мне нынче не хочется. Голова как вокзал, поезда отправляются, прибывают, таможенный досмотр, старший пограничный инспектор на коготках дожидается моей визы, но на сей раз с нею все правильно, пожалуйста, вот она; «Да-да, все в порядке, выход с вокзала вон там». – «Прошу вас, господин старший инспектор, не откажите в любезности отворить мне дверь, сам я никак не могу. Может, ослабел оттого, что на улице ждет Милена?» – «О, пожалуйста, – говорит он, – я ведь не знал». И дверь распахивается...

Четверг

Пришли письма от воскресенья, понедельника и открытка. Пожалуйста, Милена, не суди слишком строго. Я сижу здесь так уединенно, так далеко и все-таки в относительном покое, и в голову приходят разные мысли, страх, тревога, и я это просто записываю, даже если тут нет большого смысла, и, когда говорю с тобой, забываю обо всем, и о тебе тоже, и, только когда опять приходят два таких письма, снова осознаю все целиком.

Одно в твоих опасениях насчет зимы я не вполне понимаю. Если твой муж так болен, вдобавок страдает двумя заболеваниями, и серьезными, он ведь не может ходить в бюро, но, как штатного сотрудника, уволить его, разумеется, не могут; из-за болезней он вынужден и жизнь свою устраивать по-другому, а ведь от этого все упростится и, по крайней мере внешне, станет легче, хотя вообще все очень печально.

Но одна из самых больших бессмысленностей в этом мире – серьезное отношение к вопросу вины, по крайней мере мне так кажется. Бессмысленность, по-моему, даже не в том, что делаются упреки; конечно, попав в беду, человек сыплет упреками направо и налево (хотя это еще не самая страшная беда, потому что в самой страшной беде упреков вообще не делают), понятно и то, что в тревоге и смятении принимаешь такие упреки близко к сердцу; но что люди полагают, будто все это можно обсуждать как какие-нибудь обыкновенные расчеты, которые настолько ясны, что можно с легкостью предвидеть их последствия, – вот этого я совершенно не понимаю. Конечно, ты виновата, но тогда ведь и твой муж тоже виноват, и опять ты, и опять он, потому что, когда люди живут вместе, иначе и быть не может, а вина тянется бесконечной цепью вплоть до седого первородного греха, но что проку от копаний в первородном грехе для моего нынешнего дня или для визита к ишльскому врачу?

А на улице все время льет дождь и кончатся не хочет. Мне-то что, я сижу в тепле и сухости и только стыжусь есть свой роскошный завтрак, потому что как раз против моих окон в люльке стоит маляр и, злясь на дождь, который немного поутих, и на обилие масла, которое я намазываю на хлеб, без всякой необходимости брызжет краской на стекло, причем и это тоже всего лишь фантазия, и он, вероятно, обращает на меня стократ меньше внимания, чем я на него. Да, сейчас он и правда работает среди проливного дождя и ветра.

О Вайсе я задним числом слышал еще, что он, вероятно, не болен, но сидит без денег, по крайней мере так было летом, когда во Франценсбаде для него собирали по подписке. Я ответил ему недели три назад заказным письмом, по шварцвальдскому адресу между прочим, еще прежде, чем услышал об этой истории. Он не ответил. Сейчас он на Штарнбергском озере, с подружкой, которая пишет Бауму[130] печально-серьезные (такая у нее натура), но, по сути, не горестные (и это тоже вполне в ее характере) открытки. Перед ее отъездом из Праги (где она имела на театре большой успех) я бегло с нею говорил. Выглядела она плохо – она вообще слабая и хрупкая, однако ж небьющаяся, – переутомилась от множества спектаклей. О Вайсе она сказала примерно так: «Он сейчас в Шварцвальде, и живется ему там скверно, ну да ничего, скоро мы будем вместе на Штарнбергском озере, тогда все наладится».

Воскресенье

Что здесь главное, Милена? То, что ты якобы написала, или, может быть, все-таки доверие? Однажды ты уже писала об этом, в одном из последних писем, в Меран, я не успел ответить.

Пойми, Робинзону пришлось наняться на корабль, совершить опасное путешествие, пережить кораблекрушение и много чего еще, а я, случись мне потерять только тебя, уже стал бы Робинзоном. И даже куда большим Робинзоном, чем он. У него еще был остров, и Пятница, и много всего, а в конце концов и корабль, который подобрал его и почти все вновь превратил в грезу, у меня же не осталось бы ничего, даже имени, я бы и его отдал тебе.

И потому я, не в пример тебе, до некоторой степени независим, именно потому, что зависимость так превышает всякие границы. «Или – или» слишком огромно. Или ты моя, и тогда все хорошо, или же я теряю тебя, а тогда все не то что плохо – тогда просто ничего нет: ни ревности, ни страдания, ни страха – вообще ничего. Разумеется, кощунство – так полагаться на одного человека, оттого-то и там закрадывается страх за опоры, но это не страх за тебя, а страх, что вообще хватает дерзости этак строить. И потому к противодействию (но так, наверное, было и изначально) в твоём милом земном лице примешивается столько божественного.

Ну вот, Самсон поведал Далиле свою тайну, и она может отрезать ему волосы, за которые подготовки ради и без того не раз уже

дергала, и пусть отрезает; у нее, поди, тоже есть похожая тайна, да не все ли равно.

Три ночи уже без всякой видимой причины сплю скверно, ты-то хотя бы здорова?

Скорый ответ, если это ответ: только что пришла телеграмма. Пришла настолько неожиданно и к тому же открыто, что я даже испугаться не успел. В самом деле, сегодня она мне очень кстати; как ты догадалась? Эта естественность, с какой от тебя приходит необходимое, всегда.

Вторник

Недоразумение, нет, хуже чем просто недоразумение, гораздо хуже, Милена, если, конечно, ты и поверхность понимаешь правильно, но что значит здесь понимать или не понимать. Это недоразумение повторяется снова и снова, оно еще в Меране случилось, раз, не то два. Я ведь не просил у тебя совета, как, скажем, просил бы совета у человека за письменным столом напротив. Я говорил сам с собой, просил совета у себя, в хорошем сне, а ты меня будишь.

Не знаю, правильно ли ты поняла мое замечание насчет статьи о большевизме. То, что автор там критикует, для меня высочайшая из похвал, возможных на земле.

Если бы мне вчера вечером (когда я в 8 часов заглянул с улицы в парадный зал Еврейской ратуши, где разместилось куда больше сотни евреев-эмигрантов из России – они дожидаются здесь американской визы, – зал набит битком, как на массовом митинге, а позже, в половине первого ночи, я видел, как они все там спят, один подле другого, они даже в креслах спали, там и тут кто-то покашливал, или переворачивался на другой бок, или осторожно пробирался между рядами, электрический свет горит всю ночь), если бы мне позволили быть, кем я хочу, то я бы хотел быть маленьким еврейским мальчонкой с Востока, где-нибудь в уголке, совершенно беззаботным, отец рассуждает с мужчинами посреди зала, мать, тепло укутанная, копается в дорожном скарбе, сестра болтает с девчонками, временами запуская пальцы в свои красивые волосы, – а через неделю-другую наконец-то Америка. Правда, это не так просто, уже есть случаи дизентерии, люди стоят в переулке и кричат в окна бранные слова, даже среди самих евреев вспыхивают ссоры, двое даже с ножами друг на друга шли. Но когда ты маленький, мигом все замечаешь и оцениваешь – что с тобой тогда может случиться? А такие мальчуганы там шныряли во множестве, перелезали через матрасы, ползали под стульями и поджидали, когда им дадут хлеба, который кто-нибудь – ведь это один народ – чем-нибудь – ведь все съедобно – намажет.

14 сентября, Вторник

Сегодня пришли два письма и открытка. Распечатал я их нерешительно. Ты либо непостижимо добра, либо непостижимо владеешь собой, все говорит в пользу первого, а кое-что и в пользу второго.

Повторяю: ты была совершенно права. Мой разговор с В. был по отношению к тебе полон бестактности, зашоренного упрямства, ребячливой глупости, самодовольства и даже равнодушия, и, если бы ты – что невозможно – совершила такое по отношению ко мне, я бы потерял рассудок, и не только на миг телеграммы.[131]

Телеграмму я прочел лишь дважды, один раз бегло, как только получил, а потом через несколько дней и тогда порвал ее.

Трудно описать, каково было читать ее впервые, так много всего обрушилось. Самое явственное ощущение было, что ты меня ударила; по-моему, телеграмма начиналась с «немедленно», это и был удар.

Нет, сегодня я еще не могу писать об этом подробно, не потому, что особенно устал, а потому, что «тяжел». На меня повеяло Ничто, о котором я однажды писал.

Все было бы непонятно, если б я полагал, что совершил упомянутое выше с дурным умыслом, тогда бы я получил удар по заслугам. Нет, виноваты и мы оба, и ни один из нас.

Может быть, ты все же сумеешь преодолеть справедливое возмущение и примиришься с письмом В., которое найдешь в Вене. Я отправился к ней в тот же день, когда пришла телеграмма, после обеда, на квартиру твоего отца. Внизу было написано 1 schody,[132] я всегда думал, что это значит «первый этаж», а оказалось – на самой верхотуре. Открыла молодая, хорошенькая, веселая прислуга. В. не было, я этого ожидал, но хотел просто хоть что-то сделать, а еще узнать, когда она утром появится. Утром я ждал ее возле дома, она мне понравилась, умная, деловитая, открытая. Говорил я с ней не больше, чем написал в телеграмме.[133]

Ярмила третьего дня заходила ко мне в бюро, она давно не имела вестей от тебя, не знала о наводнении и пришла спросить о тебе. Все прошло вполне благополучно. Оставалась она всего несколько минут. Твою просьбу насчет ее письма я передать забыл, но потом черкнул ей записку.

Письма я пока внимательно не читал, позднее напишу опять.

Только что пришла телеграмма. В самом деле? В самом деле? И ты больше не бьешь меня?

Нет, ты не можешь радоваться, это невозможно. Телеграмма послана под воздействием минуты, как и предыдущая, а правды нет ни там, ни здесь, иногда проснешься ни свет ни заря и думаешь, будто правда совсем рядом с постелью – могила с несколькими вялыми цветками, открытая, готовая принять.

Я едва отваживаюсь читать твои письма; могу их читать лишь с перерывами – не выдерживаю боли при чтении, Милена, – и снова я раздвигаю твои волосы и отвожу их в стороны, – в самом ли деле такой я злой зверь, злой с собой и такой же злой с тобой, или вернее будет назвать злым то, что стоит за мной и травит, терзает меня? Но я даже не отваживаюсь назвать его злым; только когда я пишу тебе, мне так кажется, и я это говорю.

А вообще все так и есть, как я написал. Когда я пишу тебе, о сне и мечтать не приходится – ни до, ни после; когда не пишу, то по крайней мере могу заснуть – самым хрупким сном, на час, не больше. Когда я не пишу, я чувствую только усталость, печаль и тяжесть на душе; когда пишу, меня терзают беспокойство и страх. Мы ведь умоляем друг друга о сострадании: я молю тебя позволить мне укрыться, забиться куда-нибудь, а ты – но сама эта возможность безумна, ужасно абсурдна.

Ты спрашиваешь: как же это возможно? Чего я хочу? Что я делаю?

Отвечу примерно так: я, зверь лесной, был тогда едва ли даже и в лесу, лежал где-то в грязной берлоге (грязной только из-за моего присутствия, разумеется) – и вдруг увидел тебя там, на просторе, чудо из всех чудес, виданных мною, и все забыл, себя самого забыл, поднялся, подошел ближе, – еще робея этой новой, но и такой родной свободы, я все же подошел, приблизился вплотную к тебе, а ты была так добра, и я съежился перед тобой в комочек, будто мне это дозволено, уткнулся лицом в твои ладони и был так счастлив, так горд, так свободен, так могуч, будто обрел наконец дом – неотступна эта мысль: обрел дом, – но по сути я оставался зверем, чей дом – лес, и только лес, а на этом просторе я жил одной лишь милостью твоей, читал, сам того не осознавая (ведь я все забыл), свою судьбу в твоих глазах. Долго продолжаться это не могло. Даже если ты и гладила меня нежнейшей из нежнейших рукой, ты не могла не углядеть странностей, указывавших на лес, на эту мою колыбель, мою истинную родину, и начались неизбежные, неизбежно повторявшиеся разговоры о «страхе», они терзали мне (и тебе, но тебе незаслуженно) душу, каждый мой обнаженный нерв, и мне становилось все ясней, какой нечистой мукой, какой вездесущей помехой я был для тебя, – отсюда пошло недоразумение с Максом, а в Гмюнде все стало уже совершенно ясно, потом явились Ярмилино сочувствие и недопонимание и, наконец, эта смесь глупости, грубости и равнодушия у В., а вперемежку еще множество мелочей. И я вспомнил о том, кто я есть, я читал в твоих глазах, что ты во мне уже не обманываешься, и свой кошмарный сон (о человеке, оказавшемся не на месте, но распоясавшемся так, будто он у себя дома), этот кошмар я переживал в реальности, я чувствовал, что надо мне уползти назад, в мою тьму, я не выносил света солнца, я был в отчаянии, как заблудившийся зверь, и я помчался что было сил, и эта неотступная мысль: «Взять бы ее с собой!» – и мысль прямо противоположная: «Да разве будет тьма там, где она?»

Ты спрашиваешь, как я живу; вот так и живу.

Первое письмо было уже отослано, когда пришло твое. Отвлекаясь от всего, что может скрываться под этим – под «страхом» и проч. – и вызывает у меня тошноту, не потому, что оно тошнотворно, а потому, что желудок у меня слишком слаб, отвлекаясь от этого, все, наверное, еще проще, чем ты говоришь. Примерно так: одинокое несовершенство нужно терпеть, каждое мгновение, несовершенство вдвоем терпеть не нужно. Разве нет глаз, чтобы их себе вырвать, и сердца для той же цели? И ведь это не так уж и плохо, это преувеличение и ложь, все преувеличение, одна только тоска истинна, ее не преувеличишь. Но даже истина тоски не столько ее истина, сколько выражение лживости всего прочего.

Звучит вздорно, но так оно есть.

И когда я говорю, что ты для меня самое любимое, пожалуй, это тоже не подлинная любовь; любовь – то, что ты для меня нож, которым я копаюсь в себе.

Кстати, ты и сама говоришь: «Nemate sily milovat»:[134] разве это не недостаточное различие между «животным» и «человеком»?

18 сентября

Ты и не можешь понять до конца или хотя бы отчасти, Милена, о чем идет речь, я ведь и сам не понимаю, я еще весь дрожу от этого взрыва, извожу себя до безумия, но что это такое и чего оно хочет от меня в будущем – я не знаю. Знаю только, чего оно хочет сейчас: тишины, тьмы, берлоги. Вот это я знаю и должен этому покориться – иначе я не могу.

То был взрыв, он пройдет, отчасти уже прошел – но силы, его вызвавшие, вибрируют во мне непрерывно, гул их я слышал до и слышу после, ведь всю мою жизнь, все мое бытие составляет этот грозный подземный гул, смолкнет он – я кончу и жизнь, ведь это легко и просто – как закрыть глаза. Разве не слышен он был постоянно, с тех пор как мы знаем друг друга, и разве ты удостоила б меня хоть беглого взгляда, если б не он?

Конечно же, нельзя все это перевернуть и сказать: теперь все прошло, теперь я утих, я счастлив и полон благодарности за эти наши отношения. Так не скажешь, хоть это почти и верно (есть благодарность, лишь в известном смысле есть счастье, но вот тишины – нет), – ведь я всегда буду внушать ужас людям, а больше всего – себе самому. Ты упомянула о помолвках: конечно, там было все просто – просто не с болью, а с ее действием. Это как если б ты мерзко прожил жизнь и вдруг тебя притянули б к ответу за все твои мерзости – и вот твоя голова уже в тисках, одна гайка приставлена к правому виску, другая к левому, их медленно начинают завинчивать, и тебе надо, сказать: «Да, мне мила эта мерзкая жизнь», либо: «Нет, я оступлюсь от нее». Конечно же, будешь вопить «нет», пока легкие не лопнут.

Права ты и в том, что ставишь мое нынешнее решение в один ряд с прежними историями, – я ведь остаюсь все тем же и переживаю все то же. Разница лишь в том, что у меня теперь уже есть опыт и я со своим воплем не дожидаясь, пока приставят тиски, чтоб вырвать у меня признание, а кричу уже тогда, когда их только поднесут, так обострилась моя совесть – впрочем, не так уж сильно и обострилась, далеко не так сильно. Но вот еще что: когда спрашиваешь ты, тебе можно сказать правду, как никому другому, – сказать ее ради себя и ради тебя; да нет – от тебя-то лишь и возможно услышать свою правду.

Но когда ты с горечью говоришь о том, что я так просил тебя не покидать меня, ты не права. В этом я и прежде был таким же, как сейчас. Я жил твоим взглядом (и тут нет никакого особенного обожествления твоей персоны – такой взгляд каждого делает богом), у меня не было реальной почвы под ногами; я так этого страшился, хотя и безотчетно, – я совершенно не представлял себе, как высоко я парю над своей землей. Это было плохо – и для меня, и для тебя. Одного слова истины, неумолимой истины было достаточно, чтобы уже стянуть меня на вершок с моих высот, а потом еще слово – и еще вершок, и наконец исчезли все опоры, и я стремглав падал вниз, хоть мне все и казалось, что падаю слишком медленно. Я намеренно не привожу в пример никаких таких «слов истины», это только сбивает с толку и никогда не будет верным до конца.

Прошу тебя, Милена, придумай какую-нибудь другую возможность, чтоб я мог тебе писать. Лживые открытки посылать глупо; какие я должен тебе послать книжки, я тоже уже не помню; мысль о том, что ты однажды даром проходишь на почту, невыносима; придумай какую-нибудь другую возможность, прошу тебя.

Понедельник, вечер

Итак, в среду ты пойдешь на почту, а письма там не будет – хотя нет, будет, субботнее. В бюро я писать не мог, потому что хотел работать, а работать не мог, потому что думал о нас. К вечеру не мог подняться с постели, не потому, что слишком устал, а потому, что был слишком «тяжел», все время это слово, оно единственное мне под стать, ты-то понимаешь? Это как «тяжесть» корабля, который потерял управление и говорит волнам: «Для себя я слишком тяжел, для вас – слишком легок». Но и это не вполне точно, сравнениями этого не выразишь.

Но, в сущности, я не писал потому, что смутно ощущаю: нужно написать тебе так много очень-очень важного, что никакое свободное время не будет достаточно свободным, чтобы собрать для этого все силы. И так оно и есть.

Мне и о настоящем-то времени сказать нечего, а о будущем и того меньше! Я вправду только-только поднялся с одра болезни («одра болезни» – на взгляд извне), еще держусь за него и больше всего хочу обратно. Хотя и понимаю, что он означает, этот одр.

Ты, Милена, справедливо писала о тех людях: «Nemate sily milovat», – хотя, когда писала, ты не считала это справедливым. Может быть, сила их любви состоит лишь в том, что они могут быть любимы. Но и здесь для таких людей есть занижающий оттенок. Если один из них говорит своей возлюбленной: «Я верю, что ты меня любишь», то это нечто совсем иное и куда более мелкое, чем если б он сказал: «Я любим тобой». Впрочем, это ведь не любящие, это грамматисты.

«Несовершенство вдвоем» – в твоём письме все-таки недоразумение. Я же всего-навсего имел в виду, что живу в своей грязи, и это мое дело. Но втягивать туда еще и тебя – это совсем другое, и не просто насилие над тобой, это бы еще мелочь, не думаю, чтобы насилие над другим, коль скоро оно касается только этого другого, помешало мне спать. Нет, дело не в этом. Весь ужас в том, что, глядя на тебя, я гораздо отчетливее осознаю собственную грязь, а главное – по этой причине спастись становится намного труднее, нет, намного невозможнее (это невозможно в любом случае, но тут невозможность возрастает стократ). И от страха на лбу выступает испарина; о какой-либо твоей вине, Милена, тут и речи нет.

Я совершил ошибку и очень сожалею, что в последнем письме приводил сравнения с прошлыми обстоятельствами. Давай вместе все это вычеркнем.

Значит, ты вправду не болеешь?

сентябрь

Конечно, Милена, живет в Праге такой человек, он твое достояние, никто его у тебя не оспаривает, разве что ночь, которая борется за него, но она борется за все. Но что это за достояние! Я его не преуменьшаю, что-то оно из себя представляет, оно даже так огромно, что способно затмить и луну – наверху, в твоей комнате. И ты не боишься такой тьмы? Тьма без теплоты тьмы!

Чтобы ты увидела хоть что-то из моих «занятий», прилагаю рисунок. Это четыре сваи, сквозь две средние пропускают штанги, к которым привязывают руки «преступника»; сквозь две другие пропускают штанги для ног. Когда человек так привязан, штанги медленно выдвигают все дальше и дальше, пока человек не разрывается посередине. К колонне прислонился изобретатель, стоит и пыжится, скрестив руки и ноги, будто все это – оригинальное изобретение, хотя на самом деле он просто подсмотрел это у мясника, который распяливает возле своей лавки освежеванную свинью.

Я спрашиваю, не боишься ли ты, потому что человека, о котором ты пишешь, вообще не существует: ни того, что был в Вене, ни того, что был в Гмюнде; впрочем, этот последний, пожалуй, как раз существует, и да будет он проклят. Это важно знать потому, что, сойдись мы снова, опять возникнет тот, что был в Вене, а то еще и тот, что был в Гмюнде, – сама невинность, будто ничего и не произошло, – в то время как снизу, из глубин, будет источать угрозу тот, настоящий, неведомый никому, неведомый самому себе, еще менее существующий, чем другие, но в выражении могущества своего реальней всего реального (вот отчего только он не поднимется сам наконец, отчего не покажется?), и он снова разобьет все вдребезги.

Да, Мицци К. заходила сюда, все было хорошо. Но я, если это мало-мальски возможно, больше не стану ничего писать про других людей, ведь их-то вмешательство в наши письма и виновато во всем. Но писать о них я не буду не поэтому (сами-то они ни в чем не виноваты, они просто открыли дорогу правде и тому, что идет за нею), я не хочу таким образом их наказывать, если вообще можно считать это для них наказанием, мне просто кажется, что им здесь уже не место. Здесь тьма, темная квартира, где ориентируются только аборигены, да и те с трудом.

Знал ли я, что это пройдет? Я знал, что это не пройдет.

Еще ребенком, стоило мне сделать что-нибудь очень дурное – ничего дурного (или уж слишком дурного) в людском смысле, но что-то очень дурное в моем собственном, приватном смысле (впрочем, если это и не означало ничего дурного в людском смысле, то не в силу моей какой-то особенной заслуги, а в силу того, что мир был слеп или просто спал), – я очень удивлялся тому, что все идет по-прежнему, своим чередом, что взрослые, хоть и несколько помрачневшие, но в остальном нисколько не переменявшиеся, ходят как ни в чем не бывало, и их губы по-прежнему сжаты (я всегда, с самого раннего детства, глядя на эти губы снизу вверх, восхищался тем, как они спокойны и невозмутимо-естественно сжаты). Из всего этого, понаблюдав за ними некоторое время, я заключал, что я, похоже, и не могу сделать ничего дурного, ни в каком смысле, что мои страхи – это всего лишь ребяческое заблуждение и что я, стало быть, могу начинать все снова – на том самом месте, где я с перепугу прекратил. Со временем такое восприятие мира стало постепенно меняться. Во-первых, я пришел к убеждению, что другие все прекрасно замечают и даже достаточно ясно выражают свое отношение, – просто я сам

до сих пор был недостаточен зорек; эту зоркость я весьма скоро приобрел. Во-вторых, эта невозмутимость других людей – если она и в самом деле существовала – хоть и продолжала удивлять меня, но уже не воспринималась как доказательство в мою пользу.

Итак, они ничего не замечали, ни единая частица моего существа не проникала в их мир, я был для них вне подозрений, мой путь пролегал вне их мира; если мое существо было рекой, то по крайней мере один очень крупный рукав ее протекал за пределами их мира.

Нет, Милена, очень тебя прошу – придумай другую возможность писать. Ты не должна понапрасну ходить на почту, даже твой маленький письмоносец – где он? – не должен ходить туда понапрасну, даже почтовую барышню не стоит лишний раз выпрашивать. Если ты не найдешь другой возможности, придется покориться, но ты хотя бы постарайся ее найти.

Вчера я видел тебя во сне. Подробностей почти не помню, помню только, что мы все время переходили друг в друга, я был тобой, ты – мной. Под конец ты каким-то образом загорелась, я вспомнил, что огонь гасят тканью, схватил старый пиджак и принялся сбивать с тебя пламя. Но тут опять начались превращения, и вышло так, что тебя уже не было, а горел я сам и сам же пиджаком сбивал с себя огонь. Но это не помогало, а только подтвердило давнее мое опасение, что таким способом с огнем не поборешься. Меж тем приехали пожарные и все ж таки спасли тебя. Но ты была не другая, не как раньше, призрачная, нарисованная мелом во тьме и безжизненная, а может быть, просто без чувств от радости, что спасена, упала мне в объятия. Но и тут действовала неопределенность переменчивости, может быть, это я упал в чьи-то объятия.

Только что приходил А., ты его знаешь? Хоть бы прекратились эти визиты, люди все такие живые, поистине бессмертные, не в плане настоящего бессмертия, но как бы в глубь их сиюминутной жизни. Я так их боюсь. От страха я готов был прочесть в его глазах любое желание и от благодарности целовать ему ноги, лишь бы он без приглашения отправился куда-нибудь с другим визитом. В одиночестве я еще живу, но, как только приходит посетитель, он меня форменным образом убивает, чтобы затем своею силой оживить снова, но силы у него не хватает. В понедельник я должен навестить его, и от этого у меня уже сейчас голова идет кругом.

Милена, зачем ты пишешь о нашем совместном будущем, ведь оно никогда не наступит, – или потому ты о нем и пишешь? Однажды вечером мы в Вене вскользь об этом заговорили – и уже тогда у меня было чувство, что мы ищем кого-то хорошо нам знакомого, без кого мы скучаем, мы зовем его, называем самыми ласковыми именами, а ответа нет; да и как он мог ответить, его ведь не было ни рядом, ни далеко окрест.

Мало есть несомненных истин в мире, но вот эта из их числа: никогда мы не будем жить вместе, в общей квартире, бок о бок, с общим столом – никогда; даже общего города у нас не будет. Я сейчас чуть не сказал, что так же в этом уверен, как и в том, что завтра утром не встану с постели (вставить одному! Я сразу вижу себя под самим собой, как под тяжелым крестом, он придавил меня, я распластан, и какая тяжкая предстоит работа, прежде чем я смогу хоть немного прогнуться и приподнять навалившийся на меня труп) и не пойду в бюро. И так оно и есть – я наверняка не встану, но если для того, чтоб встать, понадобится усилие лишь чуть больше, чем это в человеческих силах, я его, пожалуй, и сделаю – чуть выше сил человеческих я уж как-нибудь поднимусь.

Но ты все эти рассуждения – поднимусь я или не поднимусь – не воспринимай буквально, на самом деле не так уж все плохо; в том, что я завтра утром встану, я уверен все-таки больше, чем в самой даже отдаленной возможности нашей совместной жизни. Кстати говоря, ведь и ты сама, Милена, наверняка того же мнения, когда оцениваешь себя, и меня, и «море» между «Веной» и «Прагой» с его невообразимо высокими волнами.

Что же касается грязи, то почему мне нельзя продемонстрировать ее снова и снова, ведь она мое единственное достояние (единственное достояние всех людей, правда, в этом я не так уж уверен)? Может быть, от скромности? Ну, это, пожалуй, единственный оправданный довод.

Тебя страшит мысль о смерти? А я только ужасно боюсь боли. Это дурной признак. Желать смерти, а боли не желать – дурной признак. А в остальном – можно рискнуть на смерть. Тебя выслали в мир, как библейскую голубку, ты не нашел зеленой ветки и снова заползаешь в темный ковчег.

Проспекты тех двух санаториев я получил, сюрпризов там, конечно, и быть не могло, ну разве что относительно цен и удаленности от Вены. В этом смысле оба они примерно одинаковы. Невероятно дороги, свыше 400 крон в день, а то и 500, притом и это еще не предел. От Вены часа три по железной дороге и полчаса на автомобиле, то есть опять-таки очень далеко, примерно как Гмюнд, правда пассажирским поездом. Хотя Гримменштайн все же как будто бы немного дешевле, и в крайнем случае я остановлю выбор на нем, но только в крайнем случае.

Видишь, Милена, я думаю только о себе, постоянно, или, точнее, об узкой, общей для нас и, как подсказывают мне чувство и мысль, очень для нас важной полоске почвы и пренебрегаю всем остальным вокруг, даже не поблагодарил тебя за «Кмен» и «Трибуну», а ведь ты опять все сделала замечательно. Я пришлю тебе свой экземпляр, который лежит у меня тут в столе, но, может быть, тебе хотелось бы получить и кой-какие замечания, тогда я должен прочитать еще раз, а это нелегко. С каким удовольствием я читаю твои переводы чужих писаний. Беседа Толстого переведена с русского?

Значит, ты болела гриппом? Ну, мне по крайней мере не приходится упрекать себя, что я проводил здесь время очень уж весело. (Иногда я не понимаю, как это люди придумали понятие «веселье», наверное, его просто вычислили как противоположность печали.) Я был уверен, что ты мне больше не напишешь, но это меня не удивляло и не печалило. Не печалило, потому что при всей печальности казалось необходимым и потому что, вероятно, на всем свете не хватит гирь, чтобы перевесить мою жалкую гирьку, и не удивляло, потому что я и раньше, в общем-то, никогда бы не удивился, если бы ты сказала: «До сих пор я была к тебе дружелюбна, но теперь все, я ухожу». Конечно, удивительные вещи случаются, но эта была бы одной из наименее удивительных; куда удивительнее, например, что мы встаем каждое утро. Но этот сюрприз вовсе не ободряет, порой он воспринимается как отвратительный курьез.

Заслуживаешь ли ты, Милена, доброго слова? Я, по всей видимости, не заслуживаю чести сказать его тебе, а то бы мог сказать.

Мы увидимся раньше, чем я думаю? (Я пишу «увидимся», а ты – «будем жить вместе».) Но я думаю (и повсюду вижу тому подтверждения, повсюду, даже в вещах, которые не имеют сюда отношения, все говорит об этом), что мы никогда не будем жить вместе, и «раньше», чем «никогда», есть тоже всего лишь никогда.

Гримменштайн все ж таки получше. Разница в цене составляет около 50 крон в день, к тому же в другой санаторий нужно везти с собой все для лежачего режима (меховую накидку на ноги, подушку, одеяла и проч., у меня ничего такого нет), в Гримменштайне можно все это взять напрокат, в «Венском лесу» – под большой залог, в Гримменштайне – нет, и расположен Гримменштайн выше и т. п. Кстати, я пока никуда не еду. Целую неделю чувствовал себя довольно скверно (небольшая температура и такая одышка, что я боялся вставать из-за стола, вдобавок сильный кашель), но это, видимо, следствие долгой прогулки, во время которой я немного увлекся разговорами, теперь все намного лучше, так что санаторий опять отодвинулся на второй план.

Получил санаторские проспекты. В «Венском лесу» комната с балконом на южную сторону стоит от 380 крон и выше, в Гримменштайне самый дорогой номер стоит 360 крон. Разница слишком большая – хотя и в том и в другом случае это гнусный грабеж. Ну что ж – сначала платишь за возможность инъекций, а потом за сами инъекции отдельно. Я бы так хотел поехать куда-нибудь в деревню – а еще лучше остаться в Праге и научиться какому-нибудь ремеслу; в санаторий мне меньше всего хочется. Чего я там не видел? Зажмет тебя главный врач промеж колен – и давишь кусками мяса, которые он будет засовывать тебе карболовыми пальцами в рот и потом протискивать их вдоль горла в желудок.

Два часа пролежал на канапе и почти все время думал только о тебе.

Ты забываешь, Милена, мы же стоим рядом и смотрим на это существо на полу, на меня; но тот я, который смотрит, в таком случае бесплотен.

Между прочим, и осень тоже играет мною, то мне подозрительно жарко, то подозрительно холодно, но я особенно не вникаю, все наверняка не так уж плохо. Я и в самом деле уже подумывал ехать через Вену, но потому только, что с легкими в самом деле хуже, чем летом, – и вполне естественно, – и говорить на улице мне трудно, да и последствия бывают неприятные. Если надо и впрямь уехать из этой комнаты, тогда я хочу поскорее очутиться в Гримменштайне и броситься в качалку. Кстати, возможно, как раз путешествие пойдет мне на пользу, как и венский воздух, который казался мне поистине животворным.

«Венский лес» хотя и расположен ближе, но разница в расстоянии определено не столь уж и велика. Санаторий находится не в Лебберсдорфе, а дальше, и от станции до санатория еще добрых полчаса на автомобиле. Стало быть, надумай я отправиться из этого санатория в Баден – это наверняка против правил, – то с тем же успехом мог бы поехать и, скажем, из Гримменштайна в венский Нойштадт, разница и для тебя, и для меня вряд ли велика.

Как получается, Милена, что ты по-прежнему не боишься меня и не питаешь ко мне отвращения или чего-нибудь в этом роде? Из каких глубин идут твоя серьезность и твоя сила!

Я читаю китайскую книгу, *bubacka kniha*, [135] потому я о ней и вспомнил, речь там только о смерти.

Некий человек лежит на смертном одре и с независимостью, какую ему дает близость смерти, говорит: «Всю свою жизнь я боролся с желанием покончить с нею». В другой истории ученик высмеивает учителя, у которого только и разговору что о смерти: «Ты постоянно толкуешь о смерти, а сам не умираешь». – «И все-таки я умру. Я как раз произношу свою последнюю песнь. У одного эта песнь длиннее, у другого короче. Но разница всегда лишь в несколько слов».

Это верно, но несправедливо посмеиваться над героем, который со смертельной раной лежит на сцене и поет свою арию. Мы лежим и поем годами.

Еще я прочитал «Человека из зеркала». [136] Какое обилие жизненной силы. Только в одном месте легкий надлом, зато какая щедрость и богатство повсюду в других местах, даже болезнь и та щедрая. С жадностью проглотил книжку за один вечер.

Что именно мучит тебя «там» сейчас? Раньше я всегда думал, что бессилен перед этим, но стал бессилен только теперь. Ты тоже так часто болеешь.

Только что был у директора, он меня вызвал. Дело в том, что на прошлой неделе Оттла против моей воли ходила к нему, против моей воли меня обследовал шгатный врач, против моей воли меня отправляют в отпуск.

середина ноября

Милена, прости, последний раз я, наверное, написал слишком уж коротко, переволновался из-за предварительного заказа комнаты (как выяснилось, несостоявшегося). Поеду все-таки в Гримменштайн, но пока что еще мешают всякие мелочи, которые умеренно сильный человек (он, впрочем, и не поехал бы в Гримменштайн) давным-давно бы устранил, а я вот не могу. К тому же я теперь узнал, что вопреки заверениям санатория мне обязательно нужно получить от земельного правительства разрешение на временное проживание, которое мне, вероятно, дадут, но, конечно, при условии, что я отошлю ходатайство, а я пока этого не сделал.

Все послеобеденные часы провожу теперь на улицах и купаюсь в волнах юдофобства. [137] Сам слышал, как кто-то назвал евреев «*prasive plemeno*». [138] Как тут не понять того, кто уезжает из страны, где его так ненавидят (и для этого вовсе нет нужды ни в каком сионизме или в чувстве народной общности). Геройство, выражающееся в том, что человек все-таки остается, это геройство тараканов, которых тоже никакими силами не вытравишь из ванной.

Только что выглянул в окно: конная полиция, жандармы со штыками наперевес, разбегающаяся орущая толпа – а здесь наверху, у окна, омерзительное чувство стыда за то, что ты живешь под постоянной охраной.

Хорош я, нечего сказать, но отослать руки не дошли, до такой степени я ушел в себя, да и отсутствие писем от тебя я всегда объясняю только одной причиной.

Ходатайство в земельное правительстве я уже отправил; когда придет разрешение, все остальное (заказ комнаты и паспорт) сделать недолго, и тогда я приеду. Сестра хочет проводить меня до Вены, может быть, и правда поедет со мной и проведет в Вене день или два, чтобы хоть немного попутешествовать до появления ребенка, она ведь уже на четвертом месяце.

Эренштайн.[139] – судя по тому, что он тебе написал, глаз у него зорче, чем я думал. Поэтому я бы охотно пересмотрел впечатление, которое у меня о нем сложилось, но, так как повидать его невозможно, ничего не выходит. У него – кстати, встреча продолжалась всего-то чуть более получаса – я чувствовал себя очень хорошо, вовсе не чужаком, правда, о духовном родстве речи не было, но было ощущение уюта и нечуждости, какое я испытывал школьником к соседу по парте. Я хорошо к нему относился, он был мне совершенно необходим, вдвоем все ужасы школы были нам нипочем, перед ним я притворялся меньше, чем перед кем-либо, – но, в сущности, какой же плачевный союз. Примерно так же и с Эренштайном, переливая сил я не чувствовал. Намерения у него самые добрые, и говорит он по-доброму, и очень старается, но, если бы на каждом уличном углу стоял такой помощник, Страшный суд они бы не приблизили, но сделали бы нынешние дни еще более невыносимыми. Ты читала «Таню», разговор между попом и Таней? Вопреки замыслу автора, это образец такой вот беспомощной помощи, Таня умирает на глазах от кошмара утешения[140]

Сам по себе Эренштайн, безусловно, очень силен; то, что он читал вечером, было необычайно здорово (правда, опять-таки за исключением определенных мест в книге о Краусе[141]). И как я уже говорил, взгляд у него зоркий.

Кстати, Эренштайн стал чуть ли не толстым, во всяком случае массивным (и прямо-таки красивым; как ты только можешь это отрицать!), и о худых знает разве только то, что они худые. В большинстве случаев этого вполне достаточно, в моем например.

Журналы запоздали, при случае скажу, по какой причине, но все же они приходят.

Нет, Милена, той возможности, которую мы оба полагали иметь в Вене, у нас нет, вообще нет; мы и тогда ее не имели, я глядел «со своей колокольни», цеплялся руками за верхушку, а потом изодранные руки разжались, и я упал. Конечно, для нас наверняка есть и какая-нибудь другая возможность, мир полон возможностей, но мне она пока неизвестна.

Часовым графиком ты очень меня порадовала. Изучаю его, как географическую карту. По крайней мере хоть что-то надежное. Но раньше чем через две недели я точно приехать не смогу, может быть, даже позже. Кое-что в бюро держит меня пока; санаторий, который прежде с готовностью мне писал, упорно не отвечает на запрос о вегетарианской кухне; да и сам я собираюсь в эту поездку прямо-таки как целый народ: вечно то тут то там недостает решительности, иных приходится подгонять, в конце концов все ждут, а уехать не могут, потому что кто-то из детей плачет. Вдобавок я чуть ли не боюсь этого путешествия; ну кто, например, станет терпеть меня в гостинице, если я, как вчера (впервые за много лет я уже в четверть десятого был в постели), с четверти десятого примерно до одиннадцати непрерывно кашляю, потом засыпаю, в двенадцать, поворачиваясь с левого на правый бок, опять начинаю кашлять, и кашляю До часу. В прошлом году я ехал в спальном вагоне без всяких осложнений, но теперь нипочем бы на это не отважился.

Это не совсем так, Милена. Ты знаешь того, кто тебе сейчас пишет, по Мерану. Потом мы были одно, и о том, чтобы знать друг друга, даже и речи не было, а потом мы снова разделились.

Я хотел бы сказать об этом еще кое-что, но слова нейдут из сдавленного горла.

Со мной тоже так. Часто я думаю: вот об этом необходимо тебе написать, а потом все же написать не могу. Наверное, фельдфебель Перкинс держит меня за руку, и, только когда он ее на минуту выпускает, мне тайком удастся быстренько черкнуть словечко.

То, что ты перевела как раз это место, все же говорит о родстве вкусов. Да, попытка для меня необычайно важна, я занимаюсь именно пыткой – с позиций пытаемого и пытающего. Почему? Примерно по той же причине, что и Перкинс, и столь же безрассудно, машинально и традиционно: чтобы узнать из проклятых уст проклятое слово. Заключение в этом глупость (от признания глупости толку чуть) я однажды сформулировал так: «Животное отбирает у хозяина плетку и бичует само себя, чтобы стать хозяином, и не ведает, что это всего лишь фантазия, рожденная новым узлом на плетке хозяина».

Конечно, попытка – штука жалкая, Александр-то не пытал гордиев узел, когда тот не хотел развязываться.

Между прочим, здесь как будто бы тоже есть еврейская традиция. «Венков», [142] который теперь столько пишет против евреев, недавно в передовой статье доказал, что евреи все портят и растлевают, – даже! – флагеллантизм в Средневековье они испортили. К сожалению, подробностей я не нашел, там была только ссылка на английскую книгу. Я слишком «тяжел», чтобы идти в университетскую библиотеку, но мне бы очень хотелось знать, что же такое евреи якобы сотворили с этим движением, которое (в Средние века) было от них необычайно далеко. Может, у тебя найдется ученый знакомый, который про это знает.

Книги я тебе выслал. И категорически заявляю, что вовсе не досаду и что это скорее единственное мало-мальски разумное, что я сделал за последнее время. Алеш[143] распродан, появится в магазинах теперь только к Рождеству, вместо этого я взял Чехова. «Бабушка», правда, напечатана совершенно неразборчиво, наверное, ты бы ее вовсе не купила, если б увидела. Но у меня было поручение...

Ты читала какие-нибудь подробности о том пожаре в санатории? Так или иначе, Гримменштайн теперь будет переполнен и задерет нос. Каким это образом X. может навестить меня там? Ты же писала, что он в Меране.

Твое нежелание, чтобы я встречался с твоим мужем, определенно не сильнее моего собственного. И если он не явится ко мне сам – а он вряд ли это сделает, – наша встреча практически исключена.

Поездка еще немного откладывается, потому что я занят в бюро. Видишь, я не стыжусь приписать, что «занят». Конечно, это могла бы

быть работа, как всякая другая; но у меня это полусон, так близко к смерти, как близок к ней сон. «Венков» очень даже прав. Эмигрировать, Милена, эмигрировать!

Ты говоришь, Милена, тебе это непонятно. Попробуй понять, называя это болезнью. Это один из многих болезненных симптомов, якобы открытых психоанализом. Я не называю это болезнью и усматриваю в терапевтической части психоанализа беспомощное заблуждение. Все эти мнимые болезни, как ни печально они выглядят, суть факты веры, попытки человека, попавшего в беду, закрепиться в некой материнской почве; ведь и психоанализ считает первопричиной религий именно то, что, по его мнению, лежит и в основе «болезней» индивида, правда, сейчас тут у нас никакой религиозной общности, как правило, нет и в помине, только несметное количество сект, в каждой из которых людей раз, два и обчелся, но, возможно, так просто кажется, когда взгляд прикован к современности.

Однако и закрепления в реальной почве все же не являются частным сменным достоянием человека, они изначально заложены в его существе и впоследствии постоянно продолжают формировать его существо (в том числе и тело) в этом направлении. И тут намереваются исцелять?

В моем случае можно помыслить три круга, самый внутренний «А», затем «Б» и «В». Ядро «А» объясняет «Б», почему этот человек вынужден мучиться и не доверять себе, почему он должен отказываться (это не отказ, отказ был бы слишком труден, это просто необходимость отказа), почему он не вправе жить. (Разве, к примеру, Диоген не был в этом смысле тяжело болен? Кто из нас не был бы счастлив, если б на него наконец-то упал сияющий взор Александра? А Диоген в отчаянии просил Александра не заслонять ему солнце, это жуткое, вечно пылающее, сводящее с ума греческое солнце. Бочка его была полна призраков.) «В», человеку деятельному, ничего больше не объясняют, «Б» просто отдает ему приказ. «В» действует под строжайшим принуждением, в холодном поту от страха (бывает ли в иных ситуациях этот холодный пот, выступающий на лбу, на щеках, на висках, под волосами – словом, по всему черепу? У «В» это именно так). «В», стало быть, действует скорее в страхе, чем в разумении, он доверяет, он верит, что «А» все разъясняет «Б», а «Б» все понимает правильно и передает дальше.

Я не неискренен, Милена (между прочим, у меня такое впечатление, что моя манера письма раньше была более открытой и ясной, это так?), я настолько искренен, насколько позволяет «тюремный распорядок», а это очень много, да и сам «тюремный распорядок» становится все менее жестким. Но «таким образом» я приехать не могу, «таким образом» приехать невозможно. У меня есть одна особенность, которая отличает меня от всех мне знакомых не по существу, но в очень сильной степени. Мы оба знаем весьма характерные экземпляры западных евреев, и, насколько мне известно, я самый из них западноеврейский, это означает, с некоторым преувеличением, что мне не даровано ни единой спокойной секунды, мне вообще ничего не даровано, все нужно зарабатывать, не только настоящее и будущее, но и прошлое тоже, хотя его-то каждый человек получает заранее, но и это тоже нужно зарабатывать, тяжелейшая работа, если земля вертится вправо – не знаю, так ли это, – я должен бы вертеться влево, наверстывая прошлое. А на все эти обязанности у меня совершенно нет сил, я не могу нести мир на своих плечах, я и зимний-то пиджак едва несусь. Впрочем, это бессилие не обязательно достойно сожаления; для подобных задач никаких сил не хватит! Каждая попытка обойтись тут собственными силами – безумие и вознаграждается безумием. Потому и невозможно «таким образом приехать», как ты пишешь. Я не в силах идти тем путем, каким хочу идти, я даже не могу хотеть идти по нему, могу лишь пребывать в покое, ничего иного я желать не могу, да ничего иного и не желаю.

Дело обстоит примерно так, как если бы перед всякой прогулкой человеку нужно было не только умываться, причесываться и т. д. – уже одно это достаточно утомительно, – но вдобавок, поскольку перед всякой прогулкой неизменно отсутствует все необходимое, еще и шить одежду, тачать сапоги, мастерить шляпу, вырезать трость и проч. Он, естественно, не умеет сработать все это как следует, улочку-другую его поделки кое-как держатся, но уже, к примеру, на Грабене[144] все вдруг разваливается и он стоит голый, весь в лохмотьях. И какая же мука – бежать в таком виде обратно на Староместский Ринг![145] А в довершение всего на Айзенгассе он еще и сталкивается с ватагой, которая охотится на евреев.

Не пойми меня превратно, Милена, я не говорю, что этот человек пропащий, вовсе нет, но он точно пропащий, если пойдет на Грабен, он опозорит там и себя, и весь мир.

Твое последнее письмо я получил в понедельник и в понедельник же написал ответ.

Говорят, твой муж сказал здесь, что намерен переехать в Париж. Это что, нечто новое в рамках старого плана?

Сегодня пришли два твоих письма. Ты, как всегда, права, Милена, я от стыда за свои письма едва решаюсь распечатывать твои ответные. И это еще притом, что мои письма правдивы или, по крайней мере, находятся на полпути к правде, – а как бы мне было получать твои ответы, если б мои письма были лживы? Ответить на это легко: я бы сошел с ума. Итак, моя правдивость не такая уж большая заслуга, чего уж там, я ведь только силюсь все время сообщить то, что сообщить не получается, объяснить то, что объяснить не удастся, рассказать о чем-то, что сидит у меня в печенках и что в этих только печенках и может быть пережито. Наверное, в основе-то своей это все тот же страх, о котором так часто шла у нас речь; но страх, распространяющийся на все, страх перед самым огромным и самым малым, страх, судорожный страх выговорить слово. Правда, возможно, что этот страх есть не только страх, но и тоска по чему-то, что превыше всего устрашающего.

«О мне rozbil» [146] – это чистое безумие. Я один во всем виноват, и вина моя в том, что слишком мало во мне правды, все-таки слишком мало правды, все-таки снова и снова ложь, ложь из страха перед самим собой и перед людьми. Я теперь помолчу, чтоб хоть немножко подышать правдой. Ложь ужасна – нет духовной муки горше. Поэтому молю тебя: дай мне помолчать, в письмах – сейчас, в словах – когда буду в Вене.

Ты пишешь – о мне rozbil, но я вижу только, как ты себя мучишь; ты пишешь, что покой находишь только на улицах, – а я сижу тут в теплой комнате, в халате и туфлях, сижу спокойно, насколько вообще позволяет моя «часовая пружина» (ведь «показывать время» я все-таки должен).

Когда именно я еду, смогу сказать, только получив разрешение на временное проживание. На срок свыше трех дней теперь требуется

особое разрешение землячества правительства. Ходатайство я отправил неделю назад.

О мне gozbił, я снова размышляю об этом, это так же неправильно, как, скажем, выдумывание обратной возможности.

Это не мой изъян и не изъян людей. Просто мое место в самой тихой тишине, вот так для меня правильно.

Ту историю я для тебя вырезал. Левине[147] расстреляли в Мюнхене, верно?

Сегодня четверг. До вторника я был полон искренней решимости поехать в Гримменштайн. Правда, иной раз, когда я об этом думал, я ощущал некую внутреннюю угрозу, и этим, похоже, отчасти объяснялось то, что я оттягивал поездку; но я полагал, что все это легко преодолеть. Во вторник днем кто-то мне сказал, что необязательно ждать разрешения из Праги, его скорее всего можно получить прямо в Вене. Путь, таким образом, был свободен. Я всю вторую половину дня промучился, ворочаясь на канapé, вечером написал тебе письмо, но не отослал его, все надеясь, что я себя переборю, но всю бессонную ночь я буквально корчился в муках. Во мне боролись эти двое: один хочет ехать, а другой боится – каждый всего лишь часть меня, и оба, наверное, негодяи.

Я не смогу поехать; мысль о том, что я предстану перед тобой, для меня уже сейчас невыносима, невыносима эта тяжесть в висках.

Уже твое письмо – это одно сплошное безудержное разочарование во мне, а теперь еще и это. Ты пишешь, что у тебя нет надежды; но у тебя есть надежда – сумеешь навсегда уйти от меня.

Я не могу объяснить ни тебе, ни кому-либо другому, что во мне происходит. Да и как я смог бы это сделать, когда я даже себе не могу этого объяснить.

Но не это главное; главное вот в чем – и тут все ясно: в пространстве вокруг меня невозможно жить по-человечески. Ты это видишь – и все еще не хочешь этому верить?

Суббота, вечер

Письма в желтом конверте я еще не получил; я отправлю его назад нераспечатанным.

Если это к лучшему – прекратить нашу переписку, – значит, я ужасно заблуждаюсь. Но я не заблуждаюсь, Милена.

Не буду говорить о тебе – не потому что это не мое дело; дело-то мое, просто не хочу об этом говорить.

Итак, только о себе: того, что ты для меня значишь, Милена, значишь в целом этом мире, в котором мы живем, – ты не найдешь на тех ежедневных клочках бумаги, что я тебе посылал. Эти письма – такие, как они есть, – способны только мучить, а если они не мучат, то это еще хуже. Что они способны дать? Разве что день в Гмюнде – день недоразумений и стыда, почти неизгладимого стыда. Я хочу видеть тебя такой же уверенной и твердой, как при первой встрече на улице, но письма мешают этому больше, чем весь шум на Лерхенфельдерштрассе.

Но не это даже главное; главное – что письма лишь усугубляют мою неспособность выйти за рамки писем, мое бессилие как перед тобой, так и перед собой, – тысяча твоих писем и тысяча моих желаний этого не опровергнут; и что еще главное (возможно, оно следствие этого бессилия, но все причины тут сокрыты во мраке) – это неодолимо властный голос, прямо-таки твой голос, повелевающий мне затихнуть.

Ну вот, все, что касается тебя, опять осталось не высказано, впрочем, это большей частью стоит в твоих письмах (может быть, и в желтом, а вернее, в телеграмме, которой ты требуешь вернуть это письмо, разумеется по праву), зачастую в тех местах, которых я страшусь и избегаю, как черт святого места.

Странно, я тоже хотел тебе телеграфировать, долго играл этой мыслью, в постели после обеда, вечером на Бельведере, но речь шла всего-навсего о таком вот тексте: «Прошу обязательного и положительного ответа на подчеркнутое место в последнем письме», но в конце концов я решил, что в этой фразе заключено необоснованное и отвратительное недоверие, и телеграмму посылать не стал.

Просидел за этим письмом, ничего другого не делая, до полвторого ночи, все смотрел на него и сквозь него – на тебя. Иногда – не во сне – мне видится: твое лицо скрыто волосами, мне удается раздвинуть их, и тогда оно появляется, я провожу рукой по лбу и вискам – и вот держу твое лицо в ладонях.[148]

Понедельник

Хотел это письмо порвать, не отправлять и на телеграмму не отвечать, телеграммы так двусмысленны, но вот пришли открытка и письмо – эта открытка, это письмо! Но даже и после них, Милена, и даже если мне придется искушать в кровь мой жаждущий высказаться язык, – как могу я поверить, что ты – сейчас! – нуждаешься в моих письмах, когда единственное, в чем ты нуждаешься, – это покой, и ты это сама не раз говорила, пусть и почти бессознательно. А эти письма – одна только мука, они рождены мукой, неизбывной мукой, и причиняют лишь муку, неизбывную муку, и к чему все это – да оно еще может и усилиться – в эту зиму? Затихнуть – вот единственное средство выжить, и здесь и там. Печально, да, ну и что из того? Только сон будет невинней и глубже – как у ребенка. А вот эта мука – этот плуг, бороздящий и сон и день, – вот что невыносимо.

Среда

Нет закона, который бы мне запретил еще раз написать тебе и поблагодарить за это письмо, где написаны, пожалуй, самые прекрасные слова, какие ты вообще могла мне написать: «Я знаю, что ты меня...»

В остальном же ты давно согласна со мной, что нам теперь больше не стоит писать друг другу; то, что прямо сказал об этом я, чистая случайность, ты тоже вполне могла бы это сказать. А раз мы согласны друг с другом, нет нужды объяснять, почему не писать будет

хорошо.

Плохо только, что у меня тогда (тебе отныне больше незачем справляться на почте) совершенно, почти совершенно не будет возможности писать тебе, хотя одна все же останется – послать тебе открытку без текста, в знак того, что на почте есть письмо. А ты пиши мне всегда, как только возникнет необходимость, впрочем, это само собой разумеется.

У В. я поступил очень скверно, вне всякого сомнения, но все же не так скверно, как тебе показалось с испугу. Во-первых, я ведь пришел не как проситель и отнюдь не от твоего имени. Я пришел как приезжий, который хорошо знаком с тобой, немножко знает венские обстоятельства да еще и получил от тебя два печальных письма.

Я не прощаюсь. Это не прощение, разве что сила тяжести, которая только и ждет удобного мгновения, совсем утянет меня вниз. Но разве она сможет – ведь ты живешь.

Дорогая госпожа Милена,[149]

по-моему, о тыловом прикрытии и о том, что с ним связано, много говорить не стоит, как, скажем, в военное время о государственной измене. Ведь это же вещи, которые до конца понять нельзя, можно в крайнем случае только угадывать, вещи, по отношению к которым ты не более чем «народ». Ты влияешь на события, потому что без народа никакую войну вести невозможно, и выводешь отсюда право голоса и решения, но на самом деле эти вещи обсуждаются и решаются только в необозримой иерархии инстанций. И если ты однажды на самом деле повлиять своим словом на события, то ничего, кроме вреда, от этого не будет, ибо такие слова некомпетентны, несдержанны, произносятся как во сне, а мир кишит шпионами, которые так и норовят подслушать. В этом отношении лучше всего иметь характер спокойный, полный достоинства, невосприимчивый к провокациям. А ведь провокация тут буквально все, даже трава, на которую Вы садитесь у длинного канала. (Кстати, совершенно безответственно в эту пору, когда я, кажется, простужаюсь возле натопленной печи, в постели, с грелкой, под двумя одеялами и периной.) В конечном счете у человека лишь одно суждение о том, как внешняя видимость воздействует на мир, и тут я со своей болезнью определенно в выигрыше по сравнению с Вашими, если угодно, ужасными прогулками. Ведь если я заговорю о своей болезни в том смысле, мне, в сущности, никто не поверит, да это и вправду только шутка.

Очень скоро начну читать «Донадьё», но, возможно, стоило бы все же отослать книгу Вам, я знаю, что значит подобная тоска, а на того, кто задерживает подобную книгу, после долго обижаются. Я, например, с предубеждением относился к некоторым людям, потому что – доказательств у меня не было – подозревал у каждого из них свое «Бабье лето», [150] а сын Оскара Баума спешно вернулся домой из лесной школы под Франкфуртом прежде всего потому, что был там без своих книг, особенно без любимой – «Stalky & Co» Киплинга, которую он, по-моему, прочел чуть ли не семьдесят пять раз. В общем, если с «Донадьё» обстоит так же, я ее отошлю, хотя все-таки с удовольствием бы прочитал.

Будь у меня фельетоны, я бы, вероятно, не стал читать статьи о модах (где они в это воскресенье?); если бы Вы всегда сообщали мне дату, я был бы очень рад. «Черта» я себе добуду, когда смогу выходить, пока что я еще чувствую боли.

Георг Кайзер[151] – из его произведений я мало что знаю, да не очень-то и хотел узнать больше, правда, на сцене до сих пор ничего не видел. Два года назад большое впечатление на меня произвел его процесс, я читал отчеты, особенно большую защитительную речь, где он объявил, что безусловно имеет право забирать чужие вещи, сравнил свое место в истории с местом Лютера и потребовал в случае своего осуждения приспустить флаги Германии. Здесь, у моей постели, он рассказывал главным образом о своем старшем (у него трое детей), десятилетнем мальчике, которого он в школу не пускает, но и сам с ним не занимается, так что тот еще не умеет ни читать, ни писать, зато прекрасно рисует и целыми днями пропадает в лесу или на озере (они живут в уединенном загородном доме, в Грюнхайде под Берлином). Когда я на прощание сказал Кайзеру: «Так или иначе, это большое дело», он ответил: «И единственное, все прочее в общем-то ерунда». Странно и не слишком приятно видеть его вот так перед собой – наполовину берлинский коммерсант, нервно-оживленный, наполовину сумасшедший. Вроде бы и не совсем помешан, но отчасти даже слишком сильно, ведь якобы и сломило его не что-нибудь, а только тропики (в молодости он служил в Южной Америке, вернулся больным, лет восемь в праздности валялся дома на кушетке, потом, в лечебнице, начал оживать). У него и на лице эта раздвоенность написана: лицо плоское, с удивительно пустыми голубыми глазами, которые, однако, беспокойно шныряют туда-сюда, да и некоторые другие части этого лица то и дело дергаются, тогда как все остальные черты неподвижны, точно парализованы. Впрочем, у Макса о нем совершенно иное впечатление, он находит его забавным, потому, наверное, от дружеского расположения и заставил Кайзера подняться ко мне. Ну вот, теперь он еще и занял чуть не все письмо. А я хотел еще кое-что сказать. В следующий раз.

конец марта 1922

Давно я Вам не писал, госпожа Милена, да и сегодня пишу только по случаю. Но оправдываться за свое молчание мне, собственно, ни к чему – Вы ведь знаете, как я ненавижу писать письма. Все несчастье моей жизни (и это вовсе не жалоба, а обобщающий назидательный вывод) происходит, если угодно, от писем или от возможности их писать. Люди меня едва ли когда обманывали, а письма всегда, причем и тут не чужие, а мои собственные. В моем случае это особое несчастье, о нем я не буду распространяться, но в то же время оно и всеобщее. Я убежден, что уже малейшая возможность писать письма – рассуждая чисто теоретически – принесла в мир ужасный душевный разброд. Это ведь общение с призраками, причем не только с призраком адресата, но и со своим собственным призраком, который разрастается у тебя под рукой, когда ты пишешь письмо, а уж тем более серию писем, где одно письмо подкрепляет другое и уже ссылается на него как на свидетеля. И кому это пришла в голову мысль, что люди могут общаться друг с другом посредством писем! Можно думать о далеком человеке, можно коснуться близкого человека – все остальное выше сил человеческих. А писать письмо – это значит обнажаться перед призраками, чего они с жадностью и ждут.

Написанные поцелуи не доходят по адресу – их выпивают призраки по дороге. Благодаря этой обильной пище они и размножаются в таком неслыханном количестве. Человечество это чувствует и пытается с этим бороться; чтобы по возможности исключить всякую призрачность меж людьми и достигнуть естественности общения, этого покоя души, оно придумало железную дорогу, автомобили, аэропланы, но ничто уже не помогает, открытия эти явно делались уже в момент крушения, а противник много сильнее и уверенней, он

вслед за почтой изобрел телеграф, телефон, радио. Призраком голодной смерти не грозит, но мы-то погибнем.

Удивительно, что Вы еще ничего не написали об этом в своих фельетонах, – не затем, чтоб их публикацией что-либо предотвратить или чего-либо достичь, а чтобы по крайней мере дать «им» понять, что их распознали.

Впрочем, «их» можно распознать и по отдельным исключениям – ведь иногда они пропускают какое-то письмо беспрепятственно, и оно прибывает к тебе как протянутая дружеская рука, легко и ласково ложась в твою руку. Но может быть, и это только видимость, и такие случаи, наверное, самые опасные, их надо остерегаться больше других, – но если это и иллюзия, то уж самая совершенная.

Нечто подобное случилось сегодня и со мной, потому-то, собственно, мне и пришло в голову написать Вам. Я получил сегодня письмо от друга, Вам тоже известного; мы давно уже с ним не переписываемся, что в высшей степени разумно. Ведь из вышеизложенного ясно, что письма – самое великолепное средство от сна. В каком виде они приходят! Иссохшие, пустые, они берегут душу – мгновение радости и долгая мука потом. Пока ты их самозабвенно читаешь, та толика сна, что у тебя еще была в глазу, выпархивает, встрепенувшись, в открытое окно и долго не возвращается. Потому-то мы с ним друг другу и не пишем. Но я часто, хоть и мельком, думаю о нем. Я вообще только и думаю что мельком. Но вчера вечером я думал о нем долго, шли часы, и эти столь драгоценные для меня – драгоценные из-за их враждебности – ночные часы я потратил на то, чтобы в воображаемом письме снова и снова, одними и теми же словами, повторять своему другу некоторые вещи, казавшиеся мне в тот момент чрезвычайно важными. А утром и в самом деле пришло письмо от него, да еще и с замечанием, что моего друга вот уже месяц не оставляет чувство (точнее говоря, оно возникло у него месяц назад), что он должен приехать ко мне, – и это замечание странным образом согласуется с тем, что пережил и я.

История эта дала мне повод написать письмо, а уж раз я его написал, как же было не написать и Вам, госпожа Милена, – ведь Вам-то я пишу охотнее всего (насколько вообще можно охотно писать – но это сказано уже для призраков, в сладострастном ожидании обступивших мой стол).

сентябрь 1922

Дорогая госпожа Милена,

приходится сознаться, что когда-то я очень завидовал одному человеку, потому что он был любим, находился под надежной опекой, опекой разума и силы, и мирно почивал среди цветов. Что-то, а уж завидовать я горазд.

Из «Трибуны», которую я читал не регулярно, но все-таки читал, я, думается, вправе был заключить, что лето Вы провели хорошо. Один номер «Трибуны» я раздобыл в Плане^[152] на вокзале, одна дачница беседовала с другой и держала его за спиной, сестра выпросила его для меня. У Вас был, если не ошибаюсь, очень смешной фельетон о немецких курортах. А еще где-то Вы писали о том, какое это счастье – провести лето в глуши, вдали от железных дорог, это тоже было очень мило – или это в том же самом фельетоне? Нет, кажется, в другом. Превосходна, как всегда, когда Вы пишете в «Народни листы» и оставляете евреев, моды, школу, была статья о витринах. Затем Вы перевели статью о поварах – почему? Тетушка весьма странная – то она пишет о том, что нужно правильно оплачивать письма, то о том, что нельзя ничего выбрасывать в окно, сплошь непреложные истины и все же безнадежные битвы, но, если читать очень внимательно, нет-нет да и наткнешься на что-нибудь милое, трогательное, доброе, только вот немцев она зря так ненавидит, немцы – народ замечательный и таковыми останутся. Вы знаете стихотворение Эйхендорфа «О доли, холмы, дали...»^[153] или стихи Юстинуса Кернера о пильной мельнице?^[154] Если Вы их не знаете, я как-нибудь перепишу их для Вас.

О Плане можно было кое-что рассказать, но это уже дело прошлое. Отгла была ко мне очень добра, хотя, кроме меня, у нее ведь еще ребенок на руках. С легкими моими, по крайней мере там, все обстояло сносно, а тут я за две недели еще не удосужился сходить к врачу. Но не думаю, чтобы дело было так уж плохо, если я там в Плане – о святая суетность! – часами мог колоть дрова, не уставая, и притом – минутами – испытывал счастье. Со всем остальным – сном и сопутствующей бессонницей – было несколько хуже, иногда. А как Ваши легкие – это гордая, сильная, несокрушимая чета?

Ваш К.

январь – февраль 1923

Уже давно я не находил ничего Вашего в газетах, кроме заметок о моде, которые мне все – за малыши исключениями – показались радостными и безмятежными, особенно последняя из весенних заметок.^[155] До этого, правда, я три недели не читал «Трибуны» (но я попытаюсь ее раздобыть), я был в Шпиндельмюле.^[156]

Потом пришло Ваше письмо. Странное дело у меня с письмами. Уж придется Вам – а когда не приходилось? – набраться терпения. Все эти годы я не писал никому, был в этом отношении все равно что мертвец, никакой потребности общения, я был как не от мира сего, но и ни от какого другого, – как будто я все эти годы лишь машинально выполнял, что от меня требовалось, а на самом деле все время прислушивался, не зовут ли меня, – пока болезнь не позвала из соседней комнаты, и я побежал на зов и теперь все больше и больше ей принадлежу. Но в комнате темно, и не очень-то даже различишь, болезнь ли это.

Во всяком случае, и думать и писать мне становилось все трудней, иной раз при письме рука бежала вхолостую по бумаге, вот и сейчас так, о мысли я уж не говорю (снова и снова я восхищаюсь молниеносностью Вашей мысли: мысли сгущаются – и ударяет молния); во всяком случае, наберитесь терпения, эта почка раскрывается медленно, да и почка она лишь потому, что так называют нечто наглухо закрытое.

«Донадье» я начал, но прочитал еще совсем мало и пока не очень-то вник; кстати, те немногие его^[157] вещи, которые я читал, не слишком меня трогали. Хвалят его простоту, но родина простоты – Германия и Россия, он милый, этот дедушка, но он не в силах воспрепятствовать тому, чтобы его читали поверхностно, вскользь. Лучшее из того, что я успел прочитать (я пока что в Лионе), по-моему, характерно для Франци, а не для Филиппа. Отблеск Флобера, скажем, внезапная радость на уличном углу (может быть, Вы помните этот

абзац?). Перевод сделан словно бы двумя людьми, что очень хорошо, но опять-таки дурен до непонятности. (У Вольфа выйдет новый перевод.) Как бы там ни было, читаю с удовольствием, я стал вполне приличным, но очень медлительным читателем. С этой книгой мне, впрочем, мешает та моя слабость, что я очень робею перед девушками, доходит до того, что я не верю писателю в изображении девушек, поскольку очень сомневаюсь, что он дерзал к ним подступиться. Автор словно бы сделал куклу и назвал ее Донадьё – лишь затем, чтобы отвлечь внимание читателя от настоящей Донадьё, которая совсем другая и находится совсем в другом месте. Нет, правда, для меня в этом девчоночьем детстве, при всей его прелести, проглядывает некая жесткая схема, словно то, о чем здесь рассказывается, на самом деле не происходило, происходило только более позднее, а это все было придумано лишь задним числом, как увертюра по законам музыки, и приведено в гармонию с реальностью. И ведь с некоторыми книгами испытываешь это чувство с первых страниц и до самого конца.

«Na velke ceste» [158] я не знаю. А вот Чехова очень люблю, иногда совершенно безумно. «Уилл с мельницы» [159] мне опять-таки незнаком, Стивенсона я знаю только как Вашего любимца. «Франци» [160] я пришлю. Впрочем, Вам наверняка не понравится, за исключением разве что немногих пассажей. Это можно объяснить моей теорией, что живые писатели имеют живую связь со своими книгами. Самим своим существованием они борются за них или против них. Подлинная, самостоятельная жизнь книги начинается лишь после смерти автора или, вернее, через некоторое время после его смерти, ведь эти ретивые мужи еще и некоторое время после смерти борются за свою книгу. Но затем она сиротеет и может рассчитывать уже только на силу биения собственного сердца. Вот почему, к примеру, Мейербер весьма разумно решил подкрепить биение этого сердца и оставил каждой из своих опер наследство, быть может несколько разное, в зависимости от доверия, какое к ним питал. Но об этом можно бы сказать и еще кое-что, хотя и не очень-то важное. Применительно к «Франци» это означает, что на самом деле книга живого писателя – спальня в дальнем конце его квартиры, очаровательная, если очарователен он сам, и ужасная в противном случае. Едва ли можно считать суждением о книге, если я скажу, что она мне по душе, или если Вы скажете прямо противоположное – но, может быть, все же не скажете.

*

Сегодня прочитал довольно большой кусок «Донадьё», но никак с ним не слажу. (Хотя сегодня я, пожалуй, не слажу и с объяснением, потому что рядом, на кухне, сестра разговаривает с кухаркой, что я, конечно, мог бы прекратить первым же легким покашливанием, но не хочу, потому что эта девушка – она у нас всего несколько дней, – девятнадцатилетняя, невероятно сильная, твердит, что она несчастней всех на свете, без всякой причины, она несчастна только потому, что несчастна, и нуждается в утешении сестры, которая, кстати, с давних пор, как говорит отец, «больше всего любит сидеть у служанки».) Что бы я ни сказал на поверхности против этой книги, будет несправедливо, ведь все упреки идут из сердцевины, но не из сердцевины книги. Если вчера некто совершил убийство, – а может ли из этого «вчера» когда-нибудь получиться хотя бы «позавчера»? – то сегодня он никак не стерпит историй об убийствах. Они и неприятны ему, и скучны, и действуют на нервы. Торжественная неторжественность, принужденная непринужденность, восхищенная ирония книги – все мне не по нраву. Когда Рафаэль соблазняет Донадьё, для нее это очень важно, но что делает в этой студенческой комнате писатель, а тем более еще и четвертый – читатель, – ведь комнатка превращается прямо-таки в аудиторию медицинского или психологического факультета. И вдобавок в книге так мало чего-то иного, кроме отчаяния. Я по-прежнему часто думаю о Вашей статье. Как ни странно, мне кажется, – чтоб перевести вымышленные диалоги в реальный: еврейство! еврейство! – что могут быть браки, происходящие не от отчаяния одиночества, высокие осознанные брачные союзы, и, по-моему, ангел, в сущности, думает так же. Ведь вступающие в брак от отчаяния – что они приобретают? Складывая заброшенность с заброшенностью, теплого, родного очага не создашь, создашь только каторгу. Одна заброшенность отражается в другой, даже среди самой глубокой, самой темной ночи. А если складывают заброшенность и уверенность, заброшенность попадает в еще худшую ситуацию (пусть даже это нежная, девически неосознанная заброшенность). Вступать в брак означает скорее, в изначально четком и строгом определении: быть уверенными.

Хуже всего в данный момент (даже я этого не ожидал), что я не могу продолжать это письмо – даже такое важное письмо. Злые демоны переписки обступают меня и разрушают мои ночи, которые уже и сами по себе разрушаются, все больше и больше. Я должен прекратить, я больше не могу. Ах, Ваша бессонница – не то что моя. Пожалуйста, не пишите мне больше.

Открытка со штемпелем: Добрековице, 9 мая 1923

Большое спасибо за Ваши приветы. Что касается меня: я выехал сюда ненадолго, в Праге становилось все трудней. Но это еще не настоящее путешествие, лишь трепыханье совершенно неприспособленных крыл.

К.

Дорогая госпожа Милена,

мою открытку из Добржиховиц Вы, наверное, получили. Я все еще здесь, но через два-три дня еду домой, слишком дорого, слишком бессонно и проч., в остальном, правда, необычайно красиво. Что до других путешествий, то благодаря вот этому я, пожалуй, теперь более к ним способен, даже если речь пойдет о том, чтобы отъехать от Праги еще на полчаса дальше. Я только боюсь, во-первых, расходов – дороговизна такая, что провести здесь позволительно разве только последние дни перед смертью, тогда ведь ничего не останется, – а во-вторых, я боюсь – во-вторых – неба и ада. Если отвлечься от этого, мир передо мною открыт.

С сердечным приветом,

Ваш К.

[Карандашом поверх текста, сверху и внизу написано:] И сдачу дают плохо, то слишком много, то слишком мало, и не разберешься, официант большой ловкач.

Между прочим, уже в третий раз на протяжении нашего знакомства Вы внезапно и точнехонько в минуту самой что ни на есть крайности несколькими строчками предостерегаете меня, или успокаиваете, или как еще можно это назвать.

Когда наша последней встречи ты вдруг (но не вызывая удивления) исчезла, я впервые вновь услышал о тебе, причем в скверной для меня форме, в начале сентября. Между тем в июле произошло кое-что очень для меня важное – сколько же все-таки существует важных вещей! – с помощью старшей сестры я поехал на Балтику, в Мюриц. Так или иначе, подалее от Праги, вон из закрытой комнаты. На первых порах мне было очень плохо. Потом в Мюрице как-то невероятно затеялась берлинская возможность. Ведь я собирался в октябре в Палестину, мы ведь говорили об этом, разумеется, ничего бы не вышло, это была фантазия, из тех, какие бывают у всякого, кто убежден, что никогда не встанет с постели. Если я никогда не встану с постели, то почему бы в таком случае не съездить в Палестину. Но в Мюрице я познакомился с летним лагерем одного из берлинских народных домов, в большинстве это были евреи с Востока. Меня туда очень тянуло, да и было по дороге. Я начал подумывать о возможности переезда в Берлин. В ту пору эта возможность была не многим реальнее палестинской, но она потом все же усилилась. Жить в Берлине одному для меня, конечно, невозможно, во всех отношениях, и не только в Берлине, а и где бы то ни было. Но и тут в Мюрице нашлась по-своему невероятная помощь.[161] В середине августа я вернулся в Прагу, а после целый месяц провел у младшей сестры в Шелезене. Там я случайно услышал о сожженном письме, в отчаянии тотчас написал тебе, чтобы хоть как-то облегчить себе это бремя, но письмо не отправил, потому что ничего о тебе не знал, и в конце концов перед отъездом в Берлин сжег его. О трех других упомянутых тобой письмах я до сих пор ничего не знаю. Я был в отчаянии из-за какого-то ужасного надругательства, совершенного над кем-то – я точно не знал над кем – из трех участников. Но я, пожалуй, никоим образом не совладал бы с отчаянием, будь оно даже другого рода, все равно не совладал бы, даже если бы получил в Мюрице то письмо.

В конце сентября я поехал в Берлин, незадолго до отъезда еще успел получить твою открытку из Италии. Что до отъезда, то на него ушли последние крохи сил, какие у меня еще оставались, или, вернее, я был уже совершенно без сил – не отъезд, а похороны какие-то.

И вот я, стало быть, здесь; пока что в Берлине вовсе не так скверно, как ты, кажется, думаешь; живу я почти за городом, в маленькой вилле с садом, думаю, я никогда еще не имел такой прекрасной квартиры, хотя наверняка очень скоро ее потеряю, слишком она для меня хороша, кстати, это уже моя вторая здешняя квартира. Питание пока что мало чем отличается от пражского, правда только мое питание. Так же и со здоровьем. Вот и все. Продолжать не смею, и без того сказал слишком много, духи воздуха жадно всасывают все это в свои ненасытные глотки. А ты в своем письме говоришь еще меньше. Каково общее состояние – хорошее, терпимое? Разгадать не могу. Конечно, у себя самого это невозможно разгадать; таков же и «страх».

Ф.

Открытка со штемпелем: Берлин-Штеглиц, 25 декабря 1923

Дорогая Милена, уже давно лежит у меня начатое письмо Вам, но никак не могу его продолжить – старые мои хвори настигли меня и здесь, напали и слегка скрутили, все дается мне теперь с трудом, каждый росчерк пера, все, что я пишу, кажется теперь слишком высокопарным, будто я взялся за что-то непосильное, и если я пишу: «С дружеским приветом» – в самом ли деле у этих моих приветов достаточно сил, чтобы добраться до шумной, суматошной, серой, такой городской Лерхенфельдштрассе, где я и все мое не смогли бы даже дышать? Лучше уж вообще не писать, подождать лучших или худших времен – а в остальном мне тут хорошо, за мной есть ласковый уход, едва ли не доходящий до пределов земных возможностей. О внешнем мире я узнаю – зато уж весьма ощутимо – лишь по росту цен, пражских газет не получаю, а берлинские мне не по карману, не смогли бы Вы время от времени посылать мне вырезки из «Народни листы» – вроде тех, что когда-то так меня радовали? Кстати, мой адрес недавно переменялся: Штеглиц, Груневальдштрассе, 13, у г-на Зайферта. А теперь все-таки – «искренние приветы», и что из того, что они рухнут на землю уже у садовой калитки, – может быть, тем больше сил будет у Вас.

Ваш К.

Перевод осуществлен по изданию: Franz Kafka. Briefe an Milena. Herausgegeben von Willy Haas. © 1952 Schokken Books Inc., New York City, USA

Примечания

1

Речь идет о Курте Вольфе (1887–1963), мюнхенском издателе Кафки.

2

«Господин доктор, вы долго не протянете» (чеш.).

3

Экземпляр чешского литературного еженедельника «Кмен» (№ 6 от 22 апреля 1920 г.), где был

4

Сборник рассказов Кафки «Сельский врач» был выпущен в Мюнхене Куртом Вольфом в 1920 г.

5

Милена писала с января 1920 г. для чешских газет фельетоны из венской жизни.

6

Речь идет о двух помолвках Кафки с Фелицей Бауэр (май 1914 г. и июль 1917 г.) и о помолвке с

7

Кафка здесь ошибается – речь должна идти о Д. В. Григоровиче, рассказавшем эту историю в своих воспоминаниях.

8

Мать Кафки предпочитала говорить по-немецки, а отец – по-чешски.

9

Я тот, кто за все платит (чеш.).

10

«Настоящий ужас» (чеш.).

11

«Или не вполне справедливо» (чеш.).

12

«Добрых намерений» (чеш.).

13

Чешские газетные фельетоны Милены.

14

Божена Немцова (1820–1862) – чешская писательница, собирательница чешских народных сказок, автор многих повестей и рассказов, наиболее широко известна ее повесть «Бабушка» (1855).

15

Имеется в виду Эрнст Вайс (1882–1940) – австрийский прозаик, драматург и переводчик, который поддерживал с Кафкой дружеские отношения.

16

Подруга Милены.

17

Только страх о Вас (чеш.).

18

Писатель Франц Верфель (1890–1945), живший в это время в Вене, был знаком с Миленой и ее мужем, Эрнстом Поллаком, и Милена переводила некоторые его прозаические произведения на чешский язык.

19

«Нет ни одного слова, которое не было бы очень точно взвешено» (чеш.).

20

«Деревце, деревце, переменись» (чеш.) – детская игра.

21

«Это причинило мне боль» (чеш.).

22

Речь идет о Людвиге Майснере (1822–1885); его «История моей жизни» вышла в 1884 г.

23

Так (чеш.).

24

Вы еврей? (чеш.)

25

«Не понимаю» (чеш.).

26

Возможно, что эти три слога знаменуют и движения апостолов на пражских часах: прибытие, появление и зловещий уход.

27

В оригинале зачеркнуто.

28

В чешском языке имя «Милена» произносится с ударением на первом слоге.

29

[Слева на полях:] Письмо от пятницы пришло только в среду, спешные и заказные письма идут медленнее обычных.

30

Игра слов: мужа Милены зовут Эрнст (нем. серьезный).

31

[sic!]

32

«У меня всего два платья, а выгляжу я хоть куда» (чеш.) – предположительно, строка из народной песни.

33

Кафка вспоминает здесь свое пребывание у сестры Оттлы в Цюрау с сентября 1917 г. по конец апреля 1918 г.

34

Речь идет о переписке с Фелицей Бауэр, первой невестой Кафки.

35

С 1908 г. Кафка был служащим фирмы по страхованию от несчастных случаев на производстве.

36

[Слева на полях:] Да, и ты, Милена, все ж таки меня не понимаешь, «еврейский вопрос» был всего-навсего глупой шуткой.

37

«Красивым не бывает никогда, разве что иной раз милым» (чеш.).

38

Кафка полагает, что «Милена» имя латинизированное. Зато уменьшительная форма «миленка» безусловно чешская и значит «любимая». Чисто чешской формой имени, по мнению Кафки, было бы «Милада».

39

На улице Лерхенфельдерштрассе, 113, жила Милена с мужем.

40

Кафка имеет в виду почтовое отделение, куда он посылал до востребования свои письма Милене.

41

Кафка провел с Миленой в Вене и ее окрестностях четыре дня, со среды по субботу. В начале 1921 г. Милена, вспоминая об этой встрече, писала Максу Броду о том, как хорошо себя чувствовал Кафка в те дни.

42

Дневниковые заметки известного австрийского писателя Германа Бара (1863–1934) печатались тогда по воскресеньям в «Новом Венском журнале».

43

Тетка Милены, чешская писательница Ружена Есенская (1863–1940), регулярно печаталась в пражской газете «Народни листы».

44

Речь идет о письме Юлии Вохрыцек, невесты Кафки; в этом письме она просила о срочном свидании.

45

Имеется в виду Макс Брод.

46

Новелла австрийского писателя Франца Грильпарцера (1791–1872).

47

Народный сад (Фольксгартен) – небольшой парк в центре Вены; там находится один из памятников Грильпарцеру.

48

[На полях справа:] И несмотря ни на что, я иногда думаю: если от счастья можно погибнуть, то со мной должно случиться именно так. А если обреченный смерти от счастья может остаться в живых, тогда я останусь жить.

49

День смерти Яна Гуса был официальным праздником в Чехословацкой Республике.

50

Русская церковь стояла напротив дома, в котором Кафка жил у родителей.

51

Мужу Милены.

52

[Слева на полях:] Я немножко испугался оттого, что ты намерена писать о страхе.

53

Флориан – известный католический писатель и издатель, зять Леона Блуа; в ту пору у него работала Стася.

54

Мастерская художественных промыслов.

55

Кафе литераторов и художников на Гибернергассе.

56

[Слева на полях:] Вчера я писать не мог, все в Вене казалось мне слишком темным.

57

«Да, ты прав, я его люблю. Но, Ф., я ведь и тебя люблю тоже» (чеш.).

58

Г-жа Колер – венская знакомая Милены.

59

14 июля праздновалось и в Праге.

60

В оригинале зачеркнуто.

61

«Белый петух» – венский ресторан, где Милена временами обедала.

62

Имеются в виду два из многочисленных взвешивавшихся в это время планов мужа Милены оставить работу в банке и переехать из Вены.

63

«Мари Донадьё» (1904) – роман французского писателя Шарля Луи Филиппа (1874–1909).

64

Речь идет о двухтомнике эссе М. Брода «Язычество, христианство, иудаизм» (1921).

65

[Слева на полях:] Я очень за чикагский план, при условии, что потребуются и мальчики на побегушках, не умеющие бегать.

66

Речь идет о враче-психоаналитике и философе Отто Гроссе (1877–1920), умершем незадолго до этого, в феврале.

67

Тогдашние чешские журналы и газеты.

68

Что, собственно, ты тот самый человек, который понятия об этом не имеет... (чеш.)

69

Не имеет понятия! (чеш.)

70

Заставить человека ждать (чеш.).

71

«Больше всего мне хотелось бы убежать каким-нибудь третьим путем, который не ведет ни к тебе, ни к нему, куда-нибудь в одиночество» (чеш.).

72

Я ведь не остановлюсь даже перед... даже перед... даже перед... (чеш.)

73

[Слева на полях:] Я знаю твой ответ, но хочу увидеть его написанным.

74

«Поскольку он о Вас никогда не писал и не говорил» (чеш.).

75

По просьбе Милены Кафка ходил на могилу ее рано умершего брата Еничека.

76

[Наискось через всю страницу:] Писал я все это время ежедневно, так что ты еще получишь, надеюсь, эти письма.

77

Речь идет о чехе Густаве Яноухе (1903–1968), ставшем впоследствии известным сочинителем легкой музыки, музыковедом; на основе своих бесед с Кафкой в это время Яноух издал позже, в 1951 г., книгу «Разговоры с Кафкой».

78

На венских вокзалах в то голодное время были и женщины-носильщицы.

79

Секретарь (чеш.).

80

Таинственно, секретно (уеш%).

81

Густав Ландауэр (1870–1919) – член мюнхенского советского правительства, выдающийся эссеист, убит в 1919 г.

82

Напрасно (чеш.).

83

[Слева на полях:] Отчего же ты печальна?

84

[Слева на полях:] Но отчего ты печальна?

85

Мировые весы (чеш.).

86

Вероятно, речь здесь идет о книге Макса Брода «Язычество, христианство, иудаизм. Книга-исповедь», которую Кафка в это время читал в рукописи и которая затем вышла в Мюнхене в 1921 г. В одном из предыдущих писем Кафка упоминал эту книгу.

87

Рудольф Фукс (1890–1942) – литератор, переводчик с чешского на немецкий; Кафка познакомился с ним в начале 1910-х гг.

88

Женщинам нужно немного (чеш.). 129

89

Речь идет об условленном между Миленой и Кафкой шифре для оправдания его поездок в Вену.

90

Ханс Краса – композитор, погиб в концлагере.

91

«Трибуна» – пражская ежедневная газета, в которой, в частности, сотрудничала Милена.

92

Сестра Кафки, которая играла в его жизни важную роль.

93

Ребенок, грудной младенец (чеш.).

94

Как таковая (чеш.).

95

[Поверх этой и предыдущей страницы синим карандашом:] Так я болтаю только потому, что мне с тобой хорошо, несмотря ни на что.

96

Кафка имеет в виду свое свидание с Миленой в Вене.

97

Само собой разумеется (чеш.).

Очевидно, Милена собиралась прислать фальшивую телеграмму.

99

Отто Пик (1887–1938) – пражский критик и писатель, редактор «Пражской прессы», старый друг Кафки.

100

Франц Бляй (1871–1942) – австрийский писатель, сатирик и мемуарист.

101

1 [слева на полях:] На этих письмах «несмотря ни на что» было в самом деле необходимо; и разве эти слова вправду не хороши? На «несмотря» как бы спотыкаешься, тут еще присутствует «мир», а на «ни на что» падаешь в бездну, и там нет уже ничего.

102

Этот простой и ясный факт (чеш.).

103

Ждешь, пока это тебе понадобится (чеш.).

104

«Жаль» и «ужасно печально» (чеш.).

105

[слева на полях:] Я вовсе не против твоей поездки в отпуск. Как бы я мог быть против и с чего ты это взяла?

106

И ты не приедешь, потому что ждешь, что когда-нибудь тебе будет нужно, чтобы ты приехал (чеш.).

107

Будь здоров, Франц (чеш.).

108

Поэтому нет смысла посылать тебе ложную телеграмму, я ее не отошлю (чеш.).

109

Имеется в виду пражский адвокат д-р Пауль Штайн.

110

Страх, тоска (или желание) (чеш.).

111

[слева на полях:] Ты приедешь в самом начале десятого, как австрийка не позволяй задерживать себя на таможне, я ведь не могу часами твердить фразу, которой хочу с тобой поздороваться.

112

Речь идет об одной странной пражской афере: несколько человек получили письма, явно написанные рукой Милены, но все же написанные не ею.

113

«Хотите немножко покататься?» (чеш.)

114

Да (чеш.).

115

Еврейский праздник Бар-Мицве отмечается по достижении мальчиком тринадцатилетнего возраста.

116

Не понимаю, как такой человек... (чеш.)

117

«Кофейня», название одного из рассказов Милены.

118

Очевидно, анонсы венских меховых фирм.

119

«Это прекрасно, это прекрасно!» (чеш.)

120

Этого не будет никогда (чеш.).

121

Миленка была в Санкт-Гильгене.

122

Ежедневная газета.

123

Видимо, имеется в виду упомянутая выше афера с письмами.

124

Кафка встречался с Миленой в Гмюнде (пограничная станция на пути между Прагой и Венной), и вскоре после этого Миленка уехала в санаторий Санкт-Гильген.

125

Ты мой (чеш.).

126

[Справа на полях:] Если можно, пожалуйста, опиши свое жилье.

127

[Слева на полях:] Да, я знал, что при чтении что-то пропустил и, не забывая об этом, никак не мог вспомнить: температура? Действительно температура? Умеренная температура?

128

Не хочу, чтобы ты на это отвечал (чеш.).

129

Кафка имеет в виду сделанный Миленой перевод его рассказа «Приговор».

130

Оскар Баум (1883–1940) – австрийский писатель, один из близких друзей Кафки.

131

Кафка вступился за Миленку в одной семейной размолвке, причем, по-видимому, чрезвычайно деликатно. Мы не находим конкретных причин для его ужасных самообвинений.

132

Первый подъезд (чеш.).

133

[Слева на полях:] Опасения по поводу твоего отца я могу отчасти опровергнуть, на днях напишу.

134

«У вас нет силы любить» (чеш.). 214

135

Книга о привидениях (чеш.). 225

136

Драма Франца Верфеля (1920). 226

137

16—19 ноября по Праге прокатилась волна антисемитских демонстраций.

138

«Пархатое отродье» (чеш.).

139

Альберт Эренштайн (1886–1950) – венский поэт.

140

Кафка имеет в виду драму «Таня» (1920) австрийского писателя Эрнста Вайса (1884–1940).

141

Имеется в виду книга-эссе Эренштайна о венском сатирике Карле Краусе, вышедшая в 1920 г.

142

Реакционная газета тогдашней Чешской аграрной партии.

143

Алеш Миколаш (1852–1913) – чешский живописец и график.

144

Бульвар в Праге.

145

Там находилась квартира отца Кафки.

146

«Ты разбился об меня» (чеш.).

147

Ойген Левине (1883–1919) – член мюнхенского советского правительства.

148

[Справа на полях:] Если я все-таки поеду в санаторий, я, конечно, тебе сообщу.

149

Последние письма были адресованы Милене домой.

150

Роман австрийского писателя Адальберта Штифтера (1805–1868).

151

Георг Кайзер (1878–1945) – немецкий драматург-экспрессионист.

152

В местечке Плана Кафка жил с конца июня по середину сентября 1922 г.

153

Кафка имеет в виду стихотворение Эйхендорфа «Прощание».

154

Любимое стихотворение Кафки – «Путник у пильной мельницы».

155

Кафка имеет в виду заметку «Весенние шляпки» в «Трибуне» от 2 апреля 1922 г.

156

Чешский горный курорт Шпиндлеров Млын.

157

Шарля Луи Филиппа.

158

«На большой дороге» (чеш.) – видимо, название книги.

159

Новелла английского писателя Роберта Льюиса Стивенсона (1850–1894) из книги «Веселые молодцы и другие истории» (1878–1886).

160

Роман Макса Брода, вышедший в свет в 1922 г.

161 Кафка говорит о спутнице последних лет его жизни – Доре Димант.